

Веслав Мысливский. Трактат о лущении фасоли

Перевод Константина Кучера

Главы 9 – 12

9

Пан что, впервые в этом мире? Потому что все так пана удивляет. Удивляет пана, удивляет. Ничего я не приписываю пану. Только слушаю то, что он говорит. О, даже руки у пана, я вижу, удивляются фасоли. Бритвой не мог бы пан бриться. Для бритвы нужны холодные руки, безразличные к тому, что происходит у вас внутри. Если кто-то что-то сказал, чего ты не ожидал и, уже готово, – порезался. Брился ли пан когда-нибудь бритвой? Никогда? Наверное, электрической бритвой пан бреется. Вообще не бреется? Да как такое возможно? Теперь, видит пан, – уже я удивляюсь. Но это – именно то, чему еще можно удивляться на этом свете. И в самом деле, нет у пана щетины.

Гляжу, кожа на лице у пана гладкая. Разве что нынче есть какой-то другой способ бритья. Тогда пан, наверное, не знает, что такое бритва. У меня есть. Здесь, в ящике. Где-то и кисточка должна быть, и крем для бритья, и какая-то жидкость после бритья. Могу побрить пана. Не важно, что у пана нет щетины, просто для того, чтобы он почувствовал – как приятно бриться. Только на своем собственном лице можно убедиться в этом. Пан боится? Чего? Не понимаю.

Нет, я уже не бреюсь бритвой. Не могу с такими руками. Но брился много лет, пока ревматизм не доконал. Не такая это и сложная штука. Нет, сам научился.

В детстве, конечно, видел, как бреются отец, дедушка, дядя Ян. Дядя Ян брился тщательнее всех. Всегда на два раза. Побрился, снова намылился и побрился на другой раз. Неровное, как он сам говорил, было у него лицо, поэтому, чтобы выбрить все ямочки, бугорки он и брился дважды. Руки у него уже дрожали, но всегда – только бритвой. Не раз резался, кровь бежала по лицу, текла по кадыку, но все равно – на два раза. Каждое утро брился. Но перед тем, как на следующий день должен был повеситься, помню, как сегодня, побрился вечером. Никто не обратил на это внимания, хотя он вечером никогда не брился. И опять же, когда резался, чтобы остановить кровь, использовал квасцы.

Не потому, что бритва была тупая, перед каждым бритьем ее точил. На точильном камне, а потом правил на ремне. И после заточки проверял, хорошо ли заточена. Если не очень хорошо, дальше точил. А знает пан, как лучше всего проверить – хорошо ли заточена бритва? Вырвать волос с головы и, удерживая его в этих двух пальцах, провести по нему бритвой.

Сейчас. Возьму бритву, покажу пану. Хорошая бритва, шведская сталь. Самые хорошие всегда были из шведской стали. Я привез ее из-за границы. Для себя. Но сейчас держу как память о том, что когда-то, когда у меня были здоровые руки, брился бритвой. Время от времени вынимаю ее, правлю на ремне, так что она – наточенная. Бритву надо подбирать к своей щетине, тогда она и бреет лучше всего. Жесткая щетина любит мягкую сталь, мягкая, наоборот, – твердую. Ну, и свое лицо пан должен знать. Тогда и шансов порезаться практически нет. А лицо лучше всего познается именно при бритье бритвой. Никогда пан не узнает свое лицо так близко, как при бритье бритвой. Уж пусть пан мне поверит. Когда пан бреется механической бритвой, он может думать о чем угодно. С опасной бритвой так не получится. Уж что-что, а когда порежешься до крови, начинаешь понимать, что это – твое лицо, не дядино. И чувствуешь это куда острее, чем когда просто смотришься в зеркало.

Пусть теперь пан посмотрит. Вот, вырываю волос со своей головы. И в воздухе, лучше всего на свету, режу по нему бритвой. Не резко. И – без нажима. Слегка. Если резко, то и тупая бритва сломает волос. Сломает, но не срежет. Так всегда проверяли. Теперь пусть пан вырвет волос со своей головы. Попробуем на вашем, чтобы пан удостоверился. Что, пану жаль своих волос? Один волос. Всего один. Да сколько их пан сегодня утром оставил на расческе! Сколько выпадает, когда он моет голову. Один волос никак пану не навредит. Если пан позволит, я и сам вырву. Пан боится, даже если я вырву всего один волос у него с головы? Ничего не понимаю. Пан мне не доверяет? А как же он тогда пришел ко мне за фасолью?!

Я начал бриться еще в школе. Но тогда так – время от времени. У меня, можно сказать, и щетины на подбородке еще не было. Так, реденький, мяконецкий пушок. Но пацаны постарше уже брились, поэтому и мы, молодые, хотели быть с ними наравне. Один брил другого, а бритву одалживали у дворника. Не бесплатно, конечно. Должны были каждую субботу двор ему подметать и улицу перед домом, а зимой убирать снег. Бритву себе купил, только когда пошел на стройку. Когда работал на электрификации села, то тоже одалживал у тех, с кем вместе жил на частных квартирах. Я тогда откладывал на саксофон и жаль было тратить на бритву.

Так получилось, что их как раз из танковых подшипников делал кузнец, что жил в соседнем селе. Пан даже представить себе не может, что это была за бритва. Разве что шведская сталь могла с ней сравниться, и то – не уверен. На полях еще стояли разбитые в войну танки, снимал с них подшипники и делал бритвы. Правда, были они неказистыми, топорными, ручки не очень удобные, толстоваты, из вяза или акации, но лезвие само щетину сбивало. Я купил две, одной брился, а другую держал про запас и потом подарил тому кладовщику, который учил меня на саксофоне. Денег за науку он брать не хотел, я говорил пану, вот я и подумал – дам ему хоть бритву. Он хотел мне вернуть ее, когда я перестал ходить к нему.

Нет, после того случая, даже если мне и нужна была какая-то запчасть со склада, я просил кого-то из электриков, чтобы он сходил и принес мне. Не помню, как долго это продолжалось. Пока в один прекрасный день не проходил мимо склада, а он увидел меня. Скорее всего, через окно. Начал стучать по стеклу, но я сделал вид, что не слышу. Подумал: наверное, снова хочет сказать, что плохо играю. За неделю до этого был Женский день. Большой праздник. И мы играли в художественной части. Он тоже пришел, я видел его, сидел в самом конце. Были речи, цветы, конфеты, чулки для женщин. Стройка все тянулась, планы пересматривались, но каждый год всегда было несколько праздников. А Женский день был самым приятным из них. Я уже прошел мимо склада, как он позвал меня. Стоит в дверях и кричит:

– Что делаешь вид, что не слышишь?! Это так ты хочешь быть саксофонистом?! Иди сюда!

Я вернулся, подошел к нему.

– Чего пан хочет?

– Хочу купить у тебя саксофон, – говорит.

– Какой саксофон? – Я не понял, ведь у меня не было никакого саксофона. Не говорил мне откладывать, я и не откладывал. Тот, на котором я играл в оркестре, был собственно-стью предприятия. А тот, его, на котором он по вечерам учил меня, был у него.

– Да тот, что раньше был моим, – говорит.

– Так он и так ваш, – я ему отвечаю. – И он дома у пана.

– Да, у меня, но он твой, – говорит.

– Как мой? – я все еще не понимал, что он имеет в виду.

– Твой. Я отдал его тебе. Давно хотел тебе об этом сказать, да все как-то случая не представилось. А теперь хотел бы выкупить его у тебя. Вот, возьми за него аванс. – И втискивает мне в руку пачку банкнот. Я отвел руку, но он схватил ее, вложил в нее деньги и даже сжал на них мои пальцы. – Возьми.

Скажу пану, словно не просто моя воля с этой руки ушла, а вся кровь из меня вытекла. Я стоял и не знал, что сделать, что сказать. Одна купюра вылетела из моей руки, он наклонился, поднял ее.

– Еще потеряешь. Пересчитай, если согласен. Здесь должно быть столько-то и столько-то.

Но я даже не слышал сколько. Слышал только, как стучит мое сердце.

Что-то сжало мое горло.

– Остальное буду выплачивать тебе потихоньку. Каждый месяц, после зарплаты. Не бойся, выплачу все, до последнего гроша¹⁹. Столько, сколько он стоит. Не хочу дешевле. Не бойся, не обману. Никого никогда в жизни не обманывал. Столько, сколько стоит. А стоит не мало. Каждый месяц, после зарплаты. Если не веришь, каждый месяц становись вместе со мной в кассу. И сразу же – из рук в руки, как только я получу. Каждый месяц. Не могу сразу много, сам знаешь, зарплата у меня небольшая, да и на жизнь что-то надо бы оставить. Но месяц за месяцем. Стройка, при такой работе, еще долго будет тянуться, так что есть время, чтобы расплатиться. А если и закончится раньше, то склад по любому останется. Как без склада? Обещали, что оставят меня, чтобы я доработал до пенсии. А до пенсии – должен успеть, даже не бойся. Я все продумал. Напишешь мне, где ты, и буду тебе высылать. Из месяца в месяц. И перевод оплачу, чтобы не из твоего кармана. Можно, конечно, взять ссуду в кассе взаимопомощи, но я предпочел бы вот так – каждый месяц, если ты согласишься. Один долг заплатить другим – это как-то не по мне. Ведь тогда надо оба долга держать в голове. А нет ничего хуже, чем в долгах запутаться. Жизнь сама по себе и так – долг, даже если ты и не должен ничего никому и ни у кого не занимал.

Естественно, я не взял этих денег. Как? Его саксофон. И он хотел его выкупить у меня? Он умер через каких-то полтора года после этого случая. Стройка еще не закончилась. Кто-то пришел за какой-то деталью на склад, он выписывал тому квитанцию. Оставалось только расписаться на этой квитанции, как вдруг голова его упала. И это был конец. Но карандаш из руки не выпустил, может себе пан представить. Как будто хотел подписаться под своей смертью. Что он – согласен.

Да, подпись – важная вещь. Особенно под собственной смертью. Почему человек не может подписаться под собственной смертью? За всю свою жизнь под какими только глупостями он не ставит своей подписи. Надо, не надо. А ведь, как правило, – не надо. Попробуй, сосчитай, кто сколько подписей поставил за свою жизнь! Как будто все это время нужно было специально подтверждать, что это – именно он, а не кто-то другой. Словно вообще мог быть кто-то другой, скажем, при мне. Или при пане. Так почему он не мог подписаться под своей собственной смертью?.. В конце концов, это – его смерть. Как по мне, так это не должно останавливать его руку. Скорее всего, и сама смерть заинтересована в том, чтобы подписал.

¹⁹ Грош – самая мелкая польская монета. С 1924 г. – 1/100 злотого.

Пан говорит, что когда человек рождается, он не подписывается, что хочет родиться. Да, это понятно. Немногие тогда захотели бы, если бы это зависело от его подписи. Смерть – дело другое. По крайней мере, человек по отношению к смерти должен быть свободен. Во всяком случае, ей не повредит, если эту минуту она подождет. Что там одна минута для смерти. Пан говорит, что я заблуждаюсь и это – только видимость. Иллюзия. Ну, тогда я так отвечу пану – если даже и так, то не надо презирать иллюзию. Если от истины мало проку, тогда, к счастью, у нас остается она – иллюзия. Видимость. Нередко после всей долгой жизни остается только видимость, что жил.

Все эти полтора года я ходил к нему. Даже так вышло, что еще сегодня мы занимались, а завтра он умер. И намного прилежней я занимался, чем раньше. Почти каждый день, если, конечно, нас надолго не задерживали на стройке, я сразу после работы мылся, переодевался, чем-то перекусывал (или не перекусывал) и шел к нему. Он всегда ждал меня. Иногда, ожидая, засыпал, положив голову на стол. Но как только я входил, сразу же вскидывал голову.

Рисовал мелом круг на полу, в котором я должен был стоять. Другой такой же круг, на определенном расстоянии от первого, он рисовал для себя и садился в нем на стульчик.

– Измерим, сколько от этого до того, чтобы был наилучший звук. Вот, теперь я буду тебя лучше всего слышать. Склад, это тебе не концертный зал. И даже не помещение. Навезут тут, понимаешь, труб, листов, проводов, покрышек и еще Бог весть чего. А от каждого из них звук мгновенно меняется.

Принес уже больше нот. Сделал мне для этих нот пюпитр. Когда я приходил, пюпитр уже стоял в моем круге и на нем были разложены ноты.

– С того, что там у тебя разложено, и начнем, – предупреждал меня, чтобы у меня, случаем, не было желания перевернуть те ноты. После этого ставил стульчик в свой круг, а мне говорил встать в свой.

– Только прямо держись. Не так, как в вашем оркестре, где все – закорючками какими-то.

Он всегда должен был покритиковать наш оркестр. Я подозревал, что это – его новый способ отучать меня от него. Такой, как бы мимоходом, ненавязчивый, значительно более мягкий, потому как уже никогда больше не требовал от меня, чтобы я ушел из него.

Не раз ноги у меня уже дрожали от усталости, потому как целый день ведь отработал на стройке, и все стоя, но никогда он не дал мне хотя бы на минутку присесть. Был на складе и другой стул. Когда выписывал квитанции, приглашал, чтобы присели. Но когда я приходил к нему на урок, то стул всегда был отставлен далеко, в другой конец склада.

– Стой, стой, – повторял. – Так диафрагма лучше работает, больше воздуха набираешь в легкие. Дыхание для саксофона – главное, а у тебя дыхание поверхностное, поэтому и выдох у тебя слабый, а для саксофона это плохо. Не говоря уже о том, что саксофонист должен быть сильным и в ногах, и в шее, и в позвоночнике, тогда и заиграешь свободно. Вот как придется играть до самого утра, если посетители захотят, чтобы играл, не скажешь тогда, что у тебя ноги болят.

Поэтому, скажу пану, я никогда не чувствую в ногах усталости. А иной раз уж находишься тут. Даже сейчас, когда и сезон закончился. Днем, я уже говорил пану, трижды обхожу все домики. И с той, и с этой стороны залива. И, по крайней мере, раз ночью. Когда хожу, знаю, что слежу за порядком, охраняю.

Прошу у пана прощения, мне бы надо воды выпить, в горле пересохло. Когда лущишь фасоль, она пылит немного, из-за этого. Может, и пан попил бы? У меня хорошая вода, из своего колодца. Нет, был. Я только углубил, вычистил. Помпу поставил. Протянул трубы в дом. Вот, пан видит, только кран открыть. Может, все-таки попробует пан? Пожалуйста. Ну что, хорошая? Родниковая. Прямо из источника. Ничто, скажу пану, так не утоляет жажду. Даже когда пью кофе или чай, все равно потом должен выпить стакан воды для лучшего вкуса.

Когда били этот колодец, отец пригласил водознатца. Не знаю, откуда, на повозке его привез. Искал, искал, и все время его прут притягивало к земле, а он все время был недоволен. Наконец, сказал, что вот здесь он чувствует холод. Тут и начали бить.

Многие из домиков приходят ко мне за этой водой. Не могут нахвалиться: что за вода, что за вода. Кто когда хвалил воду, пусть пан скажет. В лучшем случае, говорили – мягкая, жесткая. Родниковая всегда жесткая. На волосы, или если купаться, собирали дождевую воду. Животину поили в Рутке. В Рутке стирали. Речная вода тоже мягкая. Когда приезжают, приходят с бидонами, чтобы хотя бы на чай или кофе набрать себе этой воды. По несколько бидонов набирают. Когда к колодцу выстроится очередь, мне надо выйти, чтобы следить за порядком, чтобы один к другому не пристраивался и чтобы поровну всем. Потому как некоторые и для соседей в город берут. Как подарок. До чего дошло. Вода в подарок. Обычная вода! Нет, мог ли пан когда-то подумать, что с водой до такого дойдет? Я скажу пану, это – самый яркий пример того, что случилось с нашим миром. Чаще всего я устанавливаю два, максимум три бидона. Источник-то не бездонный. Начнет помпа засасывать песок, потом ее нужно чистить. А чтобы колодец снова наполнился, должны пройти, по меньшей мере, сутки.

Да, добрая вода, пусть пан признает. Может, еще стакан? И я выпью. Здесь, где стою, всегда стояли ведра с водой, над ними висел коврик «Добрая вода для здоровья хороша». Так, более или менее, где пан сидит, как если бы он сидел в своем круге, а вот где я стою, я стоял в своем. Скажу пану, не очень меня эти круги убеждали, казалось мне, что это просто какие-то фанаберии, и как-то я ему об этом так и сказал.

– Могли бы и без кругов. На стройке уже смеются надо мною. Какое отношение к игре у этих кругов?

– Есть, есть отношение. Когда-нибудь поймешь, что есть, – сказал. – Стой. Привыкай. Думаешь, у тебя будет больше места? Не вширь живи, вглубь. И играть так же надо. Не вширь. Вглубь.

Говорил, если бы я на аккордеоне играл, мог бы сидеть, на виолончели – мог бы сидеть, на некоторых других инструментах. Но не на саксофоне. На саксофоне играют от ног и выше головы. Воздух тогда сам потечет в саксофон и дуть много не надо. Не надо щеки надувать, челюсти напрягать. А ты еще все время напрягаешь. Губами извлекай звуки, языком их перебирай. И тогда почувствуешь саксофон, как свою боль. Между саксофоном и тобой должна быть боль. Иначе вы всегда будете чужими. Он – саксофон. А ты – кто?

Скажу пану, стал намного мягче. Так часто меня уже не поправлял, больше слушал. Бывало, закончу, а он и дальше – словно слушает. Только когда уходил от него, он иногда говорил, что то или это мне надо подправить, на то или на это обратить внимание. Правда, и я взялся, как никогда прежде. Какое-то ожесточение во мне появилось, страсть к игре. Он говорил – конец, хватит на сегодня, а я просил, чтобы еще послушал то или это, я теперь вот так сыграю, пусть послушает. Он прикрывал свой единственный зрячий глаз, пан мог бы подумать, что спит. Как вдруг вытаращит его:

– Сыграй еще раз, что-то мне здесь скучновато показалось.

Не раз охранники приходили и говорили, чтобы мы заканчивали, потому что не может быть склад до такого времени не закрытым. Им нужно его опечатать. Они и так смотрят сквозь пальцы. Я уходил от него, ночь, на стройке тишина, даже не верилось, что это – то же самое место, что и днем. На каждое воскресенье он давал мне саксофон, чтобы я поупражнялся после того, как приду с мессы. Нет, никогда не спрашивал меня, ходил ли я. Спрашивал только, как там, удалось поупражняться? На квартире не удавалось никогда. С утра играли в карты, пили водку. Даже если кто-то и ходил на мессу, то возвращался и сразу же садился за карты или водку.

Если была погода, я шел в поля или на луга. В воскресенье в полях пусто, на лугах одни коровы. В пустых полях играется плохо. Играет пан, а игра словно расплывается, утекает неизвестно куда. На лугах – куда лучше. На лугах я ходил между коров. И скажу

пану, саксофон набирал такое звучание, как потом – уже нигде: не то, что на складе – о нем и не говорю, ни в одном помещении. Да даже в концертном зале и то... Не было такого звучания! Не поверит пан, коровы переставали рвать траву, поднимали морды, застыли и слушали.

Пробовал играть в разных местах, чтобы понять, как меняется звучание в зависимости от места. Не знаю, как бы звучало здесь, над заливом, в лесу или когда еще Рутка текла, над Руткой, в селе, когда село еще было. Да, это мне многое дало. Тот же самый саксофон, тот же мундштук, да и я – тот же самый, а здесь и здесь – совершенно по-разному. Становился, например, над рекой, то над быстринкой так звучало, а где текла медленно – иначе.

Хуже всего было, когда шел дождь или зимой. Что тогда? Я шел на стройку, становился под навес. Охранники пускали меня. Время от времени я что-то чинил тому или иному из них. Легче стало, когда здание на стройке возвели «под крышу». Я шел в любое из помещений. Ну и зимой, особенно, когда прилично морозило, не получалось долго упражняться. У меня были такие перчатки, с обрезанными кончиками пальцев, где-то до сих пор, так, чтобы только подушечки пальцев торчали. Правда, время от времени на них надо было дышать, потому как они коченели.

Не знаю, откуда бралась эта моя одержимость. Не буду утверждать, что я как будто чувствовал его близкую смерть. Может, это осознание того, что саксофон мой, что-то побудило во мне. Без каких понуканий со стороны, лишних напоминаний. Как-то он сказал мне:

– Много раз думал про себя – зачем я держу этот саксофон?! Сам не играю, он без дела лежит в футляре. Правда, есть у меня внучка, но она в тюрьме сидит. Выйдет, так продаст за бесценок, как умру. Твоя ровесница. Ну да ладно, становись в свой круг.

Я стал, как он мне сказал. Он сел в том, своем. Прикрыл глаза, слушал, я играл. Вдруг у него открылся один глаз, незрячий. Руку даю на отсечение, но он этим глазом увидел меня. И что-то в нем даже блеснуло, пока я не перестал играть.

– Сходи в воскресенье к мессе, спроси у священника. Костел большую часть дня пустует, может, он позволит тебе в костеле. На складе, по правде говоря, не игра. Нужен какой-то реальный, настоящий зал. А что у тебя здесь? Пожарное депо? Нет, это еще хуже.

Он умер, стройка закончилась, я перешел на другую, потом на следующую. Кабельный завод, помню, строили. Как-то пошел в магазин за хлебом и услышал, что недалеко – разрушенный костел, еще с войны, а богослужения идут в «бараке». После войны использовали такие барачные плиты от сносимых лагерей, казарм, в пострадавших от войны районах строили из них дома, хлева, овины, учреждения, клубы, школы. Вот и этот костел «собрали» из таких плит. Он стоял в одном конце села, а тот, разрушенный, в другом.

В какое-то из воскресений я собрался, взял на всякий случай футляр с саксофоном. Нет, не полностью был разрушен, не до основания. Но было видно, что война хорошенько прошла по нему. Звонницы не было. На половине здания отсутствовала крыша, а на той половине, где еще осталась, была сильно продырявлена пулями и осколками. В стенах сквозные пробоины. В окнах – ни одного целого стекла, а когда-то, должно быть, были витражи, так как по краям еще можно было увидеть цветные осколки. Главные двери вырваны, а хоры рухнули, видимо, после бомбежки. Вход завален щебнем, из которого выпирали части поваленного органа. Неосторожно шагнув, я наступил на него, раздался стон, от которого я даже испугался. Но иначе в костел было не войти, только пробираясь по этим горам щебня и обломкам. Внутри – ни одной скамьи, от исповедальни не осталось и следа, где были алтари – главный, боковой – пустые места. На полу – следы кострищ. Видимо, солдаты жгли эти скамьи, исповедальню, алтари, чтобы что-то сварить себе или просто согреться. Все стены – словно пообконопачены выстрелами из автоматов, статуи святых разломаны на куски. Здесь часть головы, там локоть, стопа, обутая в какой-то удивительный сандаль. Я поднял какую-то руку, на которой не было большого пальца.

Начал оглядываться, не найду ли его где-нибудь тут, рядом. Нашел другую руку, но у нее все пальцы, с куском зажатых в них четок, были целы. Оказалось, что эта рука – не пара той, хотя одна из них была левой, а другая – как раз правой. Об иных «следах» и говорить даже не буду, пусть пан сам домыслит. Нужно было с осторожностью выбирать – куда и как поставить ногу. В общем, везде грязь, груды щебня, руины. Еще дождь все это поливал в течение многих лет, что минули с того времени, как закончилась война, снег заметал, мороз крошил, и не было видно, чтобы хоть кто-то пробовал защитить здание от дальнейшего разрушения.

Сцены Мук Господних были в ужасном состоянии. Исконопаченные следами от пуль, почерневшие, с некоторых краска сошла почти полностью, поэтому пану было бы трудно догадаться – то ли это Христос крест несет, то ли тот сам по себе идет. Ну и амвон. Странно, но я скажу пану, что уцелел. Тоже продырявленный пулями, но всего одной ступеньки у него не хватало. Да, деревянный. Может, с него речи произносили, чтобы поддержать дух в солдатах. Или могла быть какая-то годовщина. Праздники, они и на войне в почете.

Я взошел на амвон. Не собирался играть, уж больно меня эти руины придавили. Хотел просто посмотреть сверху на все это. Никогда ведь еще не стоял на амвоне. В детстве мне всегда казалось, что с амвона ксендз видит все, что у людей в головах. Даже если у кого-то буйная шевелюра, а у женщин головы укутаны теплыми зимними платками, все равно видит. Через волосы шевелюры, через плотную ткань платков. И во время проповеди я прятался за отца, мать, чтобы не упрекнул меня на весь костел, что вон там, в этой маленькой головке уже поселилось зло, а зло, оно вместе с человеком растет, помните, братья и сестры. Потому что во всех проповедях было зло и зло. Не редко и имя, фамилию выкрикивал – того, того-то или той-то.

И вот стою я на амвоне, смотрю на эти руины с высоты. И через какое-то время, буквально через минуту-другую, мне как будто шепнул кто-то – сыграй. Или что-то. Может даже эти руины. Я открыл футляр, достал саксофон, вложил мундштук в рот... Но все это время были у меня сомнения. И тут саксофон, как будто сам, без меня, мгновенно начинает играть. Играет, играет... Он играет, а я стою и только вслушиваюсь – как моя игра звучит в этих руинах. Вдруг вижу, кто-то пробирается от дверей, через груды щебня. Седые волосы развеваются, сам трясет поднятой вверх тростью в мою сторону, кричит что-то. Дергается так, будто взлететь хочет. Но правая нога не дает ему, что ни шаг, он падает на нее, причем так сильно, что кажется – нет, не дойдет до меня. Упадет. У меня сложилось такое впечатление, что этот кто-то появился прямо из-под завалов. Запыхавшийся, вспотевший, наконец-то доковылял до амвона и словно на последнем дыхании крикнул:

– Слазь! Не шуми! Слазь! Слышишь?! – влез под амвон и начал снизу стучать тростью. – Слазь! Слазь!

Я не переставал играть. Он вышел из-под амвона, встал, задрал голову ко мне, и начал слушать. Видимо, не мог долго держать голову задранной вверх, потому как оперся обеими руками на свою трость, опустил голову на руки. И стоял нерушимо, не двигаясь. В какой-то момент снова поднял голову, посмотрел вверх, на меня.

– Что за труба у тебя? – спросил. – Ну, на которой играешь.

– Саксофон.

– Не слышал о таком инструменте. Как думаешь, Богу бы понравилось? Всегда слушал орган. Но орган, сам видишь, в руинах. Если бы ты помог мне, может, вытащили бы. Сам не смогу. Старый. Сил уже нет. И, как трость отставить, не могу держаться на ногах. Я здесь всю свою жизнь был органистом. Какой это был орган! А там, в бараке, я

им не нужен. Даже фисгармонии²⁰ у них нет. Поэтому я и остался здесь. И Бог тоже со мною остался. Он не перенесется туда, где нет никакой музыки.

Подошел к щелю, начал стучать по нему тростью.

– Слышишь? Подойди, надо бы отвалить этот кусок стены, будет лучше слышно.

– Что будет лучше слышно?

– Э-ээ, ничего не понимаешь. Я иногда прихожу сюда, сажусь в этих руинах, прямо на щелень, и слушаю. Вот, слышишь? Если бы еще этот кусок стены. Подойди. Ты молодой, справишься. Должен справиться.

Я приходил почти каждое воскресенье и помогал ему раскапывать орган. То есть он сидел неподалеку от меня, а я раскапывал. Иногда вставал, пробовал поднять какой-нибудь кусочек, но как только наклонялся, сразу же терял равновесие. Так что в конце концов я говорил ему, чтобы он сидел, а я сам буду разбирать, отваливать. Почти ничего не говорил, ни о чем меня не спрашивал, но, похоже, слушал. Потому как когда я отваливал какой-нибудь большой обломок, он каждый раз повторял:

– О-оо, уже лучше слышно. Вот здесь теперь разбери.

И как-то вот так разбирал я, отваливал, пока не добрался до клавиатуры. Уставший, присел, а он и говорит:

– О-оо, теперь уже близко. Послушай.

Ничего я не услышал, слово пану даю, и спросил:

– Что близко?

– Бог, – сказал, – близко. Бог – это прежде всего музыка. И только потом – всемогущество.

В какое-то из воскресений я пришел, как обычно, смотрю вокруг, а его нет. А так всегда приходил до меня, сидел на обломках и ждал. В следующее воскресенье я тоже его не застал. И в следующее... А я откапывал, разбирал. И пан может представить себе, что это были за руины. Но я даже самые маленькие кусочки и детальки нашел, откопал. А он так уже и не появился. Может, на его счастье, умер еще до того, как я откопал этот орган. Потому как, если бы он его увидел...

10

Что потом? Потом выпал снег. Это ведь пан уже знает. Но как, откуда пан узнал, что я спрятался в яме для хранения картофеля? Не спрятался, мать утром послала меня с лукошком, чтобы я принес картошки. Жур уже кипел, картошку добавила и, скорее всего, хватило бы и того, что было в горшке. Но ей вдруг показалось, что мало. Пойди сынок, возьми лукошко, принеси еще, я подрежу. Любила готовить так, чтобы горшки были полными, потому как – а вдруг кто придет неожиданно?! И – голодный. А нет, так потом съедем.

Прежде, чем я набрал это лукошко, прежде чем вскарабкался с ним к дверце входного люка, низ у ямы был глубоко, а у меня еще не было столько сил, чтобы без труда подняться наверх, поэтому надо было – от ступеньки к ступеньке: ставить лукошко на одну из ступенек, подниматься за ним, а потом ставить лукошко на следующую ступеньку – ту, что повыше, и только после этого подниматься дальше. Я был уже почти под дверью, оставалась последняя ступенька, когда вдруг услышал выстрелы. Я прижался глазом к щели в двери и увидел солдат, что бегали, кричали, обливали из канистры дом, сарай, хлева.

²⁰ Фисгармония или фисгармонь – клавишно-пневматический музыкальный инструмент семейства гармоник, отличающийся наличием фортепианной клавиатуры и напольным или настольным расположением. Подача воздуха в фисгармонию может осуществляться его всасыванием («американская система») или нагнетанием мехами («венская система»). Звучание фисгармонии имитируют многие современные синтезаторы и другие электронные клавишные инструменты.

Я выпустил из рук лукошко и оно, с грохотом высыпавшегося из него и бьющегося об пол картофеля, полетело вниз. А я, вместо того, чтобы выскочить и побежать к дому, согнулся, прижав голову к коленям, закрыл глаза, зажал ладонями уши и так сидел, не слыша, не видя ничего.

Скажу пану, что до сих пор не могу понять своего поведения. Не могу себе простить. Нет, это не страх, как пан думает. Страх бы вытолкнул меня из этой картофельной ямы. От страха у меня бы сердце стучало так, что его и на дворе услышали. Но нет. Мое сердце остановилось. Не чувствовал даже, чтобы оно стучало у меня в ушах, зажатых ладонями. Я как бы оцепенел.

Не знаю, как долго так сидел, словно уже навечно застывший в таком положении, согнувшись к коленям, с закрытыми глазами, с руками, прижатыми к ушам. Даже не знаю, когда я заснул. Может себе пан представить, я заснул. Нормально это? Правда, я никогда не любил рано вставать, с трудом просыпался. Даже когда слышал, как мать, наклонившись надо мной, просит: вставай, сынок, вставай, потому как пора уже, все одно – не мог проснуться. Поэтому чаще отец приходил меня будить. Он скидывал с меня одеяло и кричал, вставай, давай уже, потому что иначе оболую тебя холодной водой! Потом долго ходил сонным. Чистил зубы, умывался, одевался сонным. Ели завтрак, а все еще чувствовал себя сонным. Должны были меня уговаривать, чтобы ел, не спал. В школу уходил еще сонный. Чаще всего только учительница на первом уроке меня будила. Или когда на каникулах выгоняли коров на пастбище, на самом деле это они меня вели, а я сонный за ними шлепал.

А когда проснулся, снег уже все засыпал. Такого снега я никогда не видел. Пан не может себе представить. Деревья стояли в снегу где-то на треть. Рядом, в саду, стоял старый улей, пчелы из него вылетели, отец все думал завести новую пасеку, постоянно об этом говорил, так его полностью засыпало. Снег шел плотно, большими хлопьями, так что почти ничего не было видно. И все еще шел. Приходилось, поверит пан, прямо пробираться взглядом через этот снег, как сквозь туман. Всю зиму не было снега. Морозило – да, но снега было совсем мало. Когда начался снегопад, не скажу пану. Но когда перестал, стало видно, как плотно он покрыл землю. Снизу дверцу намного выше половины засыпало. К счастью, та щель, через которую можно было что-то увидеть, находилась в самом верху. Трудно было смотреть, когда к ней приставлял глаз, настолько снег слепил.

Такой снег меняет мир. В лесу, например, идет пан между засыпанными снегом деревьями, так ведь обязательно захочется взять и улечься прямо под одним из этих деревьев. А еще, когда так – большими хлопьями снег идет, то пусть даже пана завалило бы, все одно – улегся бы пан. А почему бы и нет? Так ли трудно представить, что лежит в постели, в постели, под пуховой периной, и никто (никто!) пана не будит, а тут еще над паном, допустим, счастливая пихта. Да, деревья тоже могут быть счастливыми или несчастными, потому как и так бывает. Так же, как и человек, нет между ними в этом большой разницы. Вижу, пан не верит. Так я скажу пану, в детстве я с первого взгляда узнавал, какое дерево счастливое, какое нет. Ходил с матерью по ягоды или грибы, она высматривала их, а я – деревья, которые из них счастливые, которые – несчастные. Иногда я звал ее, чтобы она пришла посмотреть, пусть обязательно придет, посмотрит. Отрывалась от ягод или грибов, думая, что что-то случилось. Но никогда мне не сказала, что глупости мне приходят в голову, что напрасно ее отвлекаю, что я мешаю. Пусть пан попробует себе представить, два дуба рядом друг с другом, один дуб, другой дуб, и один счастливый, а второй застыл, словно мертвый, на одном листья даже трепещут от радости, что они живы, а на втором как будто хотят облететь.

Сейчас уже не смогу отличить, какое из них какое. Не раз специально заходил в лес. Нет, не получается. Все кажутся мне одинаковыми, но счастливые ли они, несчастные – не знаю. С собаками иногда выбираюсь, слежу – может быть, им удастся. Но хоть бы какая из них, по крайней мере, когда-нибудь обнюхала какое дерево. Как мне им объяснить, что

они должны нюхать? Должны нюхать: какое дерево счастливое, какое – несчастное? Так для начала им нужно объяснить, что значит счастье. А этого ведь никто не знает. Впрочем, лес для собак тоже может что-то другое значить. Для меня, в любом случае, это – уже не тот лес.

Когда я замерзал у этой щели, спускался вниз, на дно ямы. На дне было намного теплее. Там я спал, там же ел. Да, было что поесть.

Не только картофель. Морковь, свекла, капуста, репа. Пить – снег пил. Мне удалось чуть-чуть отодвинуть дверцу, так, что я мог протянуть руку и набрать снега в горсть. Я и не надеялся, что кто-то меня здесь найдет. И даже, скажу пану, не хотел, чтобы меня нашли. Впрочем, кто? Пусто, глухо, только этот снег. Кроме того, может, пан не поверит, поначалу мне было хорошо. Я чувствовал себя так же, как когда в лодке лежал в камышах, где-то там меня кричали, отец, мать, сестры, а я притворялся, что не слышу. И представлял себе, как меня позже будут ругать, а ты где был, парень? Божье наказание с тобой. Мы зовем, зовем. Ни один зверь не появился, ни одна птица не пролетела, не села где-то на дереве. Только через какое-то время я увидел зайца, но он только промелькнул – раз, и нет его, как будто и не было никогда среди всех этих снегов.

Через какое-то время, не знаю, сколько его могло пройти от того зайца, я их не считал. Само собой, мог хотя бы одну картошку каждый день откладывать, но... Зачем? Когда человек считает, значит, он на что-то рассчитывает. А я ни на что не рассчитывал, как уже сказал пану. Через какое-то время появилась косуля. Даже не верилось, что она настоящая. Я смотрел и не верил. Подумал, может, мне снится, потому как стояла она примерно в том месте, где когда-то была кухня. К тому же спокойная, доверчивая, редко такие спокойные, доверчивые косули встречаются. Она стояла так, словно ее ничем нельзя было спугнуть. Она, должно быть, проголодалась, стала рыться своей мордочкой в снегу. Я еще думал: не бросить ли ей картошки? Может, она подошла бы поближе ко мне. Но, чтобы бросить, я не смог еще, хоть немного, отодвинуть дверь. Но вдруг ее что-то спугнуло, и она мгновенно исчезла. Знаете, когда человек смотрит только на снег, да еще и через щель, все происходит по-иному. А то, что происходит обычно, случается, как правило, когда снега нет.

Мой глаз вглядывался в эту щель, как в фотопроектор, который показывал мне что-то, очень похожее на рождественские открытки. Например, там, где была комната, я как-то увидел елку, увешанную свечами. И они горели так ярко, что вокруг становилось все светлее и светлее, хотя на дворе и так стоял ясный день. Или вдруг где-то за лесом с неба начала падать огромная, светящаяся звезда, с полыхающим хвостом. Пришлось даже отвести глаз от щели, потому как невозможно было долго смотреть на нее. Или как-то вижу: идут три короля. Как узнал, что короли? У них были короны на головах. Казалось, они заблудились, потому что прошли немного, развернулись и пошли в другую сторону.

Однажды мы с отцом поехали на ярмарку и зашли в магазин за тетрадами. Под стеклом лежали почтовые открытки, между прочими – три короля, как по снегу идут, а кто-то их направляет, что не там надо идти, а там. Я глаз не мог от них оторвать. Первый раз видел, что есть такие открытки. Даже решился спросить продавца, что с ними делать.

– Посылать, – сказал он.

Я начал выпрашивать у отца:

– Папа, давай купим одну, пошлем.

– Да кому? – он сердито дернул меня за руку. – Нам некому писать. Все на месте.

Как-то раз поддужный колокольчик зазвенел²¹, и я приложил глаз к щели. Все громче, громче и громче, видимо, он приближался ко мне. Но вдруг стал отдаляться, пока совсем не утих. И не увидел я ни саней, ни того, кто на тех санях ехал.

²¹ Поддужный колокольчик получил свое название от места размещения – он размещался под дугой у лошадей, запряженных в повозки или сани.

Однажды снова появились колядники²². Шли гуськом, один за другим, еле вытаскивая ноги из этого снега. Впереди шла звезда, за ней царь Ирод, маршал, еврей, стража, наконец, дьявол. Меня удивило, что Смерти нет. Я подумал: кто будет отрубать Ироду голову? Но, может, Смерть и была, только она белая, снег белый и ее не разглядеть на белом снегу, не отличить от него. Как иногда не отличить сон от яви.

Пан Роберт, с тех пор, как мы познакомились, на каждое Рождество присылал мне одну из таких открыток, а я – ему. Мы выбирали такие, с елками, колядниками, тремя королями и тому подобное.

Он не раз выбирал мне такие, что одновременно, в своих пожеланиях, подсмеивался над ними. Я посылаю вам то, что осталось от нашей наивности, как вы увидите на обороте. На какое-то Рождество я выбирал для него открытку и вдруг увидел такую же, как тогда, через щель в дверном проеме. Точно такую же. Звезда за лесом падала, и мир был покрыт снегом. Купил ее, сразу же купил марку, на автомате, бездумно, надписал адрес и отправил. Не пану Роберту. Сюда. Без пожеланий. Какое пожелание я мог бы послать сюда? С тех пор на каждое Рождество отправлял. Без пожеланий. Только один раз колебался. Может, подписать: Ваш? Но это значит – чей? Они не возвращались. Как они могли вернуться, если я не давал своего, обратного адреса. Пан думает, это – бессмысленно? Я тоже так думал. Но наступало очередное Рождество, и я снова отправлял. Пан может не согласиться со мной, но, по-моему, только на открытках мир именно такой, каким бы ему хотелось быть. Вот почему мы посылаем их себе.

Нет, я не думал, что будет, когда снег растает. Ел, спал, смотрел через эту щель в дверном проеме и не был уверен, что жив. Может, только и ждал, что растаю вместе с ним. А почему бы мне не растаять вместе со снегом? Когда человек не чувствует, жив ли он, вполне может захотеть и растаять со снегом. И тут неожиданно появились партизаны. Солнце ярко светило в то утро, лес сделался прозрачным, деревья словно расступились, так что я уже издали увидел их, что они идут. Возможно, пан не поверит, но я хотел, чтобы они прошли мимо. Кричать, что я здесь? О, нет. Скажу больше, только тогда меня охватил страх. Я спустился на самое дно ямы, а там еще забрался на картофельный бурт, что был насыпан у ее стены. У одной стены была картошка, у другой – морковь, свекла, капуста, репа. А между ними, внутри, свободное место, чтобы можно было где-то встать, поставить лукошко, набрать его.

Речь не о том, что все произошло из-за них. Кто бы это ни был, я не хотел, чтобы он нашел меня. Они часто приходили в деревню. Летом, зимой, в любое время. Зимой они обычно квартировали дольше всего. Не было дома, где бы они не расположились. Нередко их у кого-то было не меньше, чем домочадцев. Спали на чердаках, в сараях, в избах, само собой, если комнат в таких было больше, чем одна. Офицеры всегда в доме. Партизан кормили, лечили от ран. Иногда приходилось привозить к ним врача, хотя не помню, чтобы кто-то из деревни когда-нибудь вызывал врача к себе на дом. Люди сами себя лечили. Травами, мазями, пили отвары, натирались, ставили банки, а когда не помогало, умирали. Разные были способы лечения болезней. Пан, например, знает, что такое «заячий висок»? Нет, жир. Лучше всего для гнойных ран. От ожогов – алоэ. От ревматизма – обработать крапивой больные места. Я тоже иногда пойду и засуну руки в крапиву. Или пчелы чтобы ужалили. Даже при самых тяжелых переломах находились такие, кто умел лечить. Без гипса, в лубках. Или знает пан, что такое «сморщенный ребенок»? Это когда он рождается с вывихом бедра. Все такие вывихи бабуля вправляла.

Ей приносили ребенка, который плачет и плачет. Для начала она приставляла его ножки одна к другой, чтобы проверить: одинаковы ли они по длине, совпадают ли кожные

²² Колядниками называли людей, исполняющих колядные песнопения. Колядование — приуроченный преимущественно к святкам славянский обряд посещения домов группой участников, которые исполняли «благопожелательные» приговоры и песни в адрес хозяев дома, за что получали ритуальное угощение. Праздник Коляды знаменовал собой процесс зимнего солнцестояния, которое происходило 22 декабря. Но в народе обычно праздник отмечали на несколько дней позднее, в ночь с 24 декабря на 25-е.

складки на них. И если они не совпадали, то в дальнейшем одна или обе ноги могли «высохнуть». Тогда надо было бежать из дома: невозможно было слушать, как в ее руках кричал ребенок. Но никто в деревне не хромал.

Не ото всех болезней есть способ. Ведь, в конце концов, лечение – это всегда способ, с помощью которого можно побороть болезнь. И тогда достаточно, чтобы человек знал, что у него больше нет способа, и потому пришло его время умереть.

О, в те времена вызвать врача было делом непростым. Потому что и далеко, и не каждый врач хотел подвергать себя опасности. Когда отцу велели ехать, мы все молились, пока он не вернулся. Потом врача пришлось отвезти, и мы снова молились, чтобы отец вернулся. Так что люди уже были сыты ими по самое горло. Тем более, что ко всему этому они еще и пили. Приходилось гнать или доставать для них самогон. Они даже танцы устраивали. Некоторые из них умели играть на губных гармониках, у них были губные гармоника, они собирали всех девиц, а те прямо рвались к ним. Потом та или иная беременела. Как она считала, от этих танцев.

Каждый раз, когда они снова приходили в деревню, нескольких, погибших, уже не было среди них. Но это не мешало им пить, танцевать. Как выпивали, не раз стреляли «на ура», для поднятия настроения. Деревня в лесу, вдаль от трактов, железной дороги, и им казалось, что кто там услышит. Но скажу пану, было весело, когда они приходили. Деревня словно преображалась. Не сразу. Приходили, лица у них были осунувшиеся, изможденные, почерневшие. Глаза, от недосыпа, красные, налитые кровью, казалось, не столько смотрят, сколько не доверяют. Даже если кто-то из них улыбнется, то это было совсем не похоже на человеческую улыбку. Заросшие, словно в прошлой жизни они ни разу не брились. У некоторых были забинтованы головы, иногда кровь проступала из-под этих бинтов. У некоторых – руки на перевязи. Тот или другой хромал. Кто-то шел только в одном сапоге, другая нога у него была замотана в какие-то кровавые лохмотья. Некоторых несли. К ним, в основном, и привозили врача. А воняли, говорю пану. Первое, с чего они начинали – прожаривали белье и одежду. Может, потому, что грязь так не чешется, как вши. Раны не так раздражают, как вши, когда они кусаются. Вшей у нас не было, мать тщательно следила за этим.

Как появлялась хоть одна, сразу все стирала. И гладила таким горячим утюгом, что он аж шипел. Особенно по швам. По швам чаще всего появляются вши, они там гнездятся. Мы все должны были купаться, мыть волосы, расчесываться самой плотной расческой. Были такие расчески, специальные, только для вшей. С настолько густой гребенкой, что воздух сквозь ее зубья едва пробивался. Ну и мыла нас сабадилом²³. Пан не знает, что это такое – сабадил? Тогда это было самое эффективное средство ото вшей. Ходили такие по деревням с пуговицами, булавками, кнопками-застежками для одежды, иглками, нитками. У них были и заколки для волос, тесьма для подшивы, ленты для девчачьих бантов.

Что еще у них было? Разные вещи. Шнурки, гуталин, мазь для мозолей, петушки от головной боли. Так говорили о порошках, но только от головной боли. Петушки. Да у них было все, что могло пригодиться в доме. Хозяйки их ждали. В город, на ярмарки, ездили редко, только когда было, что продать. А такой сабадил всегда был нужен. Почти как святая вода.

Они всегда появлялись вместе с партизанами, как только те приходили. Просто партизаны не умели их искать. Не всем, но кое-кому матери, бабушке приходилось показывать, как они себя ведут. Потому что потом они все же ловили и давили. У пана никогда не было вшей? Тогда так скажу пану: у кого не было вшей, тот – не с этого мира. Война за войной, а у пана не было вшей, странно. Так, в общем говорю, не для пана.

²³ Сабадилла, или вшивое семя (лат. *Schoenocaulon officinale*) – растение, произрастающее на высокогорных лугах в горах Центральной Америки и в северной части Южной Америки. Отвар семян и настойка употребляются в качестве противопаразитарного средства.

В этом мире каждый должен хоть раз завшиветь, чтобы научиться их искать. Дедушку это даже удивляло (очень сильно, причем!): да как они воюют, если вшей не умеют искать. Первый долг солдата, говорил он, воевать то со вшами, то с голодом, то с памятью о доме, который он оставил, вот тогда солдат будет готов к убийству. Неважно, то ли других солдат, то ли мирных жителей. Однако это не мешало деду сидеть с ними и смотреть, как они ищут. Еще подсказывал им, о, там вошь, там другая. Неудивительно, что потом приносил этих вшей домой.

Потом мылись, брились, стриглись, мыли головы, стирались, перевязывались, и становились совсем непохожими на тех, кто пришел. Приходили старые, а становились молодыми. Некоторые почти еще дети были. Трудно было поверить, что тот или иной – тот же.

Когда приходили, то с трудом передвигали ноги, а тут... Плясали!

Вдруг снег наверху закрипел, за ним закрипела дверка, и полоска света упала на дно ямы. Нет, меня в ней не было видно, потому что, как уже сказал, я сидел под боком картофельного бурта.

Услышал только тонкий, писклявый девичий голос:

– Эй! Есть кто здесь?!

В первый момент подумал: а вдруг Ягода, Леонка? У них тоже были девичьи голоса.

– Эй! Есть кто здесь?!

Только после этого я понял: нет, ни одна из них. Наверное, по тому снегу, который я выбирал за дверью, чтобы напиться, они догадались, что в яме кто-то есть.

Она, похоже, спустилась одной ступенькой ниже. Голос ее стал громче, хотя и по-девичьи, даже как бы с легким испугом:

– Есть там кто?! Отзовись!

Я не вышел и не откликнулся. Слово пану даю. И тогда случилось то, что было трудно предугадать. Этот бурт картошки, на котором я сидел, с грохотом осел, а я – вместе с ним. Какая там судьба. Я же все выбирал и выбирал картошку, когда-то бурт должен был осыпаться. Достаточно было пошевелить какую-то из картофелин. И бурт пришел в движение. Не пойму только: почему именно в эту, а не в другую минуту. Сучок сам ломается, когда кто-то на него встанет, и что, это – судьба? Я услышал ее крик:

– О, Боже! – она выскочила на улицу и стала кричать: – Здесь кто-то живой! Здесь кто-то живой!

Не было больше смысла прятаться, пришлось дать знать, что я живой. Когда уже кажется, что нет мира, нет Господа над ним, вдруг услышать над собой почти ангельский голос, как будто он зовет к жизни и мир, и вас вместе с ним. Так что же я должен был делать – кричать, что меня нет? Я начал подниматься вверх, к ней, свет слепил меня, поэтому первое, что я разглядел, прежде чем увидел ее, – повязку с красным крестом у нее на рукаве. Она вдруг удивилась:

– Боже, да ты еще ребенок?

Скажу пану, она тем ребенком достала меня. Подумалось: «А сама?». И оказался прав. Молоденькая была, светловолосая, хотя в шинели, в конфедератке, могла показаться намного старше, чем была. Тем более, что шинель была очень большой для нее, и рукава были, о, вот на столько закатаны, фуражка тоже, скорее всего, была бы ей велика, если бы не волосы. Только голос выдавал, сколько лет ей может быть на самом деле. Как пан знает, внешний вид может ввести в заблуждение, голос – никогда. Тем более, в форме. В форме самый молодой солдат всегда кажется намного старше, чем есть. Даже дети в униформе выглядят так, будто для них самое привычное дело: мучить, убивать, сжигать. Когда пану столько лет, сколько мне тогда было, то если кто-то на несколько лет старше, тогда, вне зависимости от формы, он и так, без нее, кажется чуть ли не древним стариком.

Конечно, со временем это меняется, годы летят и возраст выравнивается. И чем ближе смерть, тем он все ровнее и ровнее. Тем более, что смерть выбирает нас не по годам. Я бы так не сказал, ради всего святого. В этом, похоже, и есть мудрость смерти.

Санитарка была, как на это и указывала повязка у нее на рукаве, с красным крестом. Когда я уже вышел из ямы, увидел, что у нее – еще и сумка, перекинута через плечо, тоже со знаком Красного Креста. Для нее сумка была слишком тяжелая, потому что она даже чуть согнулась.

Вся аптека была в той сумке. Впрочем, не только с сумкой ей было тяжело. Одна на весь отряд, пан может себе представить? Она никогда не жаловалась, но нетрудно было догадаться, что все это – выше ее сил. Она стирала бинты, перевязывала раны, давала таблетки от боли, от лихорадки, вытирала пот, отмывала от крови, от грязи, иногда с ног до головы, когда человек не мог сам встать, и все равно ее звали сюда, звали туда, звали днем, ночью.

Даже сегодня, когда я думаю о ней, мне не хочется верить, что можно быть такой молодой и не получать того облегчения, которого заслуживает человек, когда ему столько лет, сколько было ей. Не скажу пану, сколько ей было лет, она никогда не говорила о своем возрасте, может, ей было стыдно, но она терпела все это так, как будто была намного, намного старше.

Втайне я даже хотел, чтобы она была намного, намного старше. Не из-за того, что пан думает.

Только до определенного возраста человек желает этого, затем это желание начинает меняться. Пан считает, что с этого момента мы становимся хуже? Я бы не согласился с паном. Уже в песочницах мы – хуже.

Играл ли пан в детстве в песочнице? Я тоже. Зачем кому бы то ни было делать в деревне песочницу для детей? Песок – всюду. Где бы Рутка ни поворачивала, один берег излучины обязательно был песчаным. Пан мог валяться в песке, зарываться в песок, строить из песка, делать все, что захочешь. И не только у Рутки. В сельской местности не так тянет к песку, как в городе. Поля, луга, леса, со всех сторон открыты, открыты для пана, открыты на всю свою глубину, кто бы там стал играть в песке. Везде было весело. Мы не просто жили, жили – везде. Не было нужды в больших домах, никому не надо было разделяться. Жили во дворах, в амбарах, свинарниках, садах, полях, лугах, под небом, над Руткой. Весь мир был домом, а дом служил только для того, чтобы все могли собраться вместе после долгого дня. Каждый хотел быть как можно ближе друг к другу. В некоторых домах не было даже отдельных комнат, только одно помещение, и то было довольно тесным. Только в тесноте можно по-настоящему почувствовать, что вы – вместе. Кто же будет делать песочницу для детей, если дети тоже хотят чувствовать себя вместе со всеми. Если кому-то придет в голову построить песочницу, как в городе, как пан думает: захочет ли кто-то из деревенских детей играть в ней? Даже если привязать его к той песочнице на цепь, ее обязательно порвали бы. А в песочнице обосновались бы куры, гуси, утки, они тоже любят покопаться в песке, они бы там устроили... И, о, от песочницы мало бы что осталось.

За границей тоже сталкивался с песочницами. Где бы ни жил, среди домов всегда были песочницы для детей. Люблю детей, уже говорил о том пану, и когда у меня было немного времени, сидел на скамейке у такой песочницы, между няньками, мамами, бабушками. И скажу пану, когда смотрел на этих детей, играющих в песочнице, иногда это меня умиляло, но иногда я испытывал самый настоящий страх.

О, песочница – это целый мир, поверьте мне. Пара на пару метров, и мир, человечество, будущие войны. Лица добрые, румяные, казалось бы, невинные, но, при желании, пан уже мог бы точно указать: который из них зарыл бы в песок соседа, а который спрятался бы от того же соседа в этот песок. Кому этой песочницы когда-то станет мало, а кто в ней однажды потеряется. Разве в этом песочница виновата? Некоторые так думают. Но, когда я думаю об этом, мне иногда кажется, что мы все изгнаны из песочницы, вне зависимости от возраста. И я – тоже, хотя никогда не играл в песочнице.

А знает пан, я встречал за границей песочницы с цветным песком. Зеленоватым, голубоватым, розовым. Думаю, крашенный. Где бы песок был такого цвета. Только разве от

цветного песка мы можем стать другими? Это правда, от цветов мы тоже зависим. Но ведь не все одинаково от одних и тех же.

И кто от которого больше – не знаем. Какой цвет в ком тускнеет, а какой в ком-то становится ярче, не знаем. А те цвета, что мы видим в себе, одинаковы ли они? Впрочем, можно ли для песка придумать цвет лучше, чем цвет солнца, пусть пан скажет. Для листьев лучше, чем зеленый? Для неба, чем синий? Для снега, чем белый? Конечно, цвета – умны. Пан не знал? Если бы не тот белый снег тогда, то ведь...

Какой цвет мне больше всего нравится? Пан спрашивает, как будто он журналист. А ведь пан не журналист. Точно знаю. Пан даже не похож на журналиста. Какой цвет? Ну не знаю. Пан меня удивил. У меня нет любимого цвета. И будет ли это иметь какое-то значение, если бы я сказал, например, зеленый? Потому что какой он, зеленый? Каждое дерево в лесу, каждый куст, каждый листочек, даже мох по-разному зеленеют. Это все постоянно меняется, и у самого пана – уже другая зелень. Вот и получается: можно ли сказать, что что-то зеленое? Зеленый – это бесконечность. Любой цвет – бесконечность.

Когда я смотрел сквозь эту щель в дверном проеме, меня поразило, как одна белизна превращается в другую белизну, через некоторое время в третью, и никогда не возвращается к прежней. Как будто волны белизны накатывали на этот белый снег. Каким, как пан думает, будет белый цвет? Пан играет со мной. Пан хотел бы видеть меня всю жизнь – в песочнице. Я бы тоже предпочел. Только нет ни одного цвета, чтобы раз и навсегда. Цвет – это движение, впрочем, как и все остальное.

За границей я иногда посещал галереи, музеи. Пан тоже бывал? Тогда он, наверное, заметил, что у каждого художника самый сложный цвет – это тело женщины. Даже у одного и того же на этой и на той картине. Я имею в виду не то, что цвет менялся, а у художника как бы появлялась беспомощность перед этим цветом. Можно ли сказать, что тело женщины имеет тот или иной цвет? Ведь этот цвет может зависеть, скажем, от неуверенности художника в себе? От его страха, страдания, отчаяния. Да, и от желания тоже. Глядя на эти картины, у меня иногда создавалось впечатление, будто все эти цвета чего-то не договаривают.

Нет, не модель, как пан думает. Почему? Пан должен сам себе на это ответить, если у него были женщины.

Сестра несколько не стеснялась меня, купалась при мне голой. Сестра, да все они ей так говорили, и я говорил. Впрочем, это было первое слово, которое я произнес. Сестра. Потому что долго-долго не говорил. Просто не говорил. Как будто не умел. Как будто не знал слов. Попросту был немым. Она научила меня этому первому слову. Поговори со мной, скажи «сестра», сказала она. Так все меня зовут. Ну, скажи, сестра. Скажи мне – сестра. Сестра.

Когда она принимала ванну, я всегда был на страже.

– Ты можешь смотреть на меня, – говорила. – Следи за тем, чтобы они не подглядывали за мной.

Где бы ни был какой-нибудь ручей, речушка, родник, она всегда купалась. Впрочем, мы останавливались только там, где была вода. В конце концов, нужно было что-то пить, в чем-то мыться, стирать, а что стирать было всегда. Например, бинты. Я помогал ей во всем. То, что она должна была постирать, носил к воде, а затем развешивал на ветках. Не говорил, но понимал, что она говорит мне, другим, что говорят ей. Если она перевязывала кого-то из раненых, я всегда что-то держал, доставал из сумки, отрезал, помогал ей перевязывать. Если ей приходилось мыть кого из них, потому что он лежал как труп, поддерживал ему голову и поворачивал на бок. Снимал с него ботинки, потому что она всегда мыла и ноги, хотя он не был ранен в ноги, но она говорила, что с чистыми ногами ему будет легче. Вы не представляете, какие это были ноги: покрытые волдырями, ссадинами, струпьями, иногда стертые до кости.

Как-то в лесу мы вышли к озеру, довольно большому. У него надолго остановились. Они сказали, что здесь еще нога человеческая не ступала, нас никто не найдет. Действи-

тельно, даже по деревьям было видно, что они сами, от старости, валятся. А грибов, ежевики, земляники, других ягод там было... Только собирай! Птиц, скажу пану, очень много. И каких пану только захотелось бы. С самого рассвета в лесу раздавалось их пение. По озеру плавали водяные курочки, утки, лебеди. В общем, место, где наконец-то можно отдохнуть после этих постоянных перемещений, отоспаться, наконец, зализать раны и даже на какое-то время забыть о войне. По правде говоря, я не знал, продолжается ли она или нет, может, уже закончилась. Никто ничего об этом не говорил. Мы продолжали кружить по лесам, обходить деревни. Однажды, помню, пересекали железнодорожные пути, раз шли по какому-то мосту, а как-то ночью были на мельнице. Видел только, что полные чем-то мешки выносят и кладут на повозку. Велели мне сидеть на этих мешках. И они шли, а я ехал. Наконец я заснул, и когда кто-то снял меня с этих мешков, мы уже были в лесу. Как-то мы снова оказались в какой-то усадьбе, но в дом не заходили, остановились в парке. Они принесли нам что-то поесть, мы поели и двинулись дальше.

Меня сестра всегда держала за руку. И спрашивала, не устал ли я. Иногда кто-то сажал меня к себе на плечи и нес немного. Зимой рыли землянки, в этих землянках и жили. Жили так, вдали ото всех, что война могла уже закончиться, а мы этого и не знали. Еще дома все говорили, что на Рождество закончится или на Пасху. Здесь никто ничего не говорил. Во всяком случае, со мной. Когда они о чем-то говорили, а я приближался, они замолкали. Как-то они меня не заметили, вечер был, их несколько сидело у костра, и мне удалось услышать, но только «до победного конца». Мог бы услышать и больше, только я наступил на сухую ветку и они замолчали.

По правде говоря, мне было все равно, если она закончилась. Мне было хорошо с ними. Сестра была мне как настоящая сестра, я привязался к ней и не представлял, что мы могли бы расстаться. Мог бы по тому или иному догадаться, но я не хотел догадываться. Случалось, что несколько человек, например, два-три, или значительно больше десятка, вдруг срывались, брали оружие и куда-то уходили. Они возвращались утром или на следующую ночь, пока я еще спал. Где они были, не знаю. Как я должен был спросить, если не говорил? После такой отлучки они всегда лучше питались. Был хлеб и сало, иногда кусок мяса в супе. И суп не всегда один и тот же. Но изо всех супов они выделяли только гороховый. Гороховый... И все потирали руки. Лучше ели и когда им удавалось что-то поймать в силки или ловушки. Стрелять было запрещено. А так, в основном, была пшенка. Пан знает, что такое пшенная каша? Из пшена. Пан не знает, что такое просо? Тогда больше ничего не буду объяснять пану, потому что я ненавижу пшенную кашу. Откуда у них была эта каша, не знаю. Точно так же, как не знаю, куда они уходили, когда брали с собой оружие.

Как-то мне из такой экспедиции принесли коробку леденцов, раз мяч, другой – шашки, и один из них научил меня играть. Потом всегда играл с ним. А однажды – книгу. Сказки Андерсена. Пан знает? Они сказали, что если я начну читать, то, возможно, начну и говорить. Но ведь не за этими же конфетами, мячом, шашками или сказками они брали с собой оружие. Я попытался читать мысленно, потому что с губ ничего не шло. С трудом пролистал страницу, и мне показалось, что лучше бы фасоль лущить. Хотя, как уже говорил, я терпеть не мог лущить фасоль. Просто разучился читать, хотя в школе читал лучше всех. Правда, я бегло читал. Любил читать. Дома по вечерам не раз вслух всем читал. Ягода, Леонка – старше меня, одна на два класса, другая – на три, а хуже меня читали. Сестра как-то заметила, что книга у меня открыта на одном и том же месте.

– Дай, я тебе почитаю, – сказала.

И с тех пор не каждый день, потому что не каждый день у нее было время, а по вечерам огонь не зажигали, она читала мне. По крайней мере, одну, две странички. Хотя иногда глаза у нее слипались от усталости. Иногда тот или иной присоединялся к нам, иногда несколько. Старые лошади, и они слушали сказки, может себе пан представить. И это были партизаны.

Она всегда ставила засохший лист в том месте, где мы останавливались. И никогда его не выбрасывала, говорила, что ей жалко выбрасывать такой красивый листик. Снова ставила новый там, где останавливались в другой раз. Я собирал эти листья, искал самые красивые. Иногда приходилось обойти большой участок леса, чтобы найти их. Потом мы вместе с ней из тех красивых, что были собраны мной, выбирали самый красивый.

– Этот мы оставим, хочешь?

И я всегда хотел.

– Где ты находишь такие красивые листья? – удивлялась она каждый раз.

Скажу пану, ради этого ее удивления я готов был на деревья лезть, а не только под деревьями искать, среди опавших листьев. Дубы, буки, клены, вязы, платаны – разные деревья там росли. Почти всю книгу она заложила этими листьями. Оставалось еще несколько сказок, чтобы их прочитать, но она не успела. Я принесу книгу, покажу пану, какие из них. В комнате у меня. Пусть пан не опасается, не буду ему читать. Какие не прочитаны, пусть такими и останутся. Нет, те листья не сохранились. А книгу эту я купил.

Как-то зашел в магазин за нотами, а у них и книги были. Уже купил ноты и просто так, без какой цели, стал разглядывать книжные полки. Вдруг вижу: Андерсен, сказки. Сердце забилось сильнее. Купил, принес домой, положил на тумбочку у кровати. Жил один, жена как раз недавно меня бросила. Я всегда читал перед сном. Устал, не устал, нужно было хотя бы одну, две страницы прочитать. Уже после первой страницы чувствую, как меня наполняет покой и все становится на свои места, а после нескольких – дюжины или около того – глаза начинают давать мне знать, что вот-вот закроются. Мне не нужно принимать снотворное. Но те сказки, которые она мне не прочитала, я так и не смог прочитать.

Сейчас времени у меня гораздо больше, чем в сезон. По утрам вставать не надо, поэтому и самому себя усыплять чтением не нужно, вот и до сказок дело не дошло. Читаю, да, но не так много. Меня уже и книги не могут усыпить. Кроме того, мне кажется, что даже книги не помогут понять то, что я хотел бы понять по итогу. Когда работал на электрификации сел, в одном доме, где мы монтировали освещение, смотрю, на окне лежат сказки Андерсена. Спросил хозяина, могу ли одолжить. А он:

– Возьми себе. Нам она не нужна. Это нашего мальчика. Убило его. Он наступил на мину.

Принес на квартиру, мы вчетвером жили, и вечером в кровати собирался почитать. Один, с соседней кровати, увидел это и начал смеяться:

– Ты что, сказки читаешь?

А второй с другой кровати:

– Тебе бы девушка не помешала. И чтобы здесь у нее было, и здесь, вот это – важно.

Мне стало стыдно, я вытащил из-под кровати чемодан и спрятал под рубашку, носки, другие вещи, на самое дно. Потом на стройку перешел, но больше никогда не тянулся к чемодану, чтобы достать и прочитать. В конце концов, отдал одному в подарок ребенку. Он ехал домой на воскресенье и переживал, что ничего не купил своему парню. Я спросил:

– А сколько ему лет? – и вытащил эти сказки. – Возьми. Как раз для его возраста. Столько же и мне было.

Почему сестра не стыдилась меня, не знаю. Разве я этого не говорил? Или по другой причине? Как-то я следил, чтобы за ней не подглядывали, и стоял спиной к озеру, а она раздевалась на берегу. Вдруг зовет:

– Повернись! Ты стыдишься меня?! Иди сюда! Ты когда в последний раз купался?

Не знал, как сказать ей, что недавно купался.

– Наверное, давно, – сказала она. – Все здесь любят грязь. Раздевайся. Будешь купаться со мной.

Я застыл, как окаменевший.

– Что ты так смотришь на меня? Никогда раньше не видел? – я отвел глаза в сторону.
– Не стой на месте. Раздевайся. Дай, помогу тебе. – Думаю, сам бы я не смог даже пуговицу на рубашке расстегнуть. – Подними голову. Дай сюда руку. Подними ногу. Смотри, смотри. Что ты можешь знать в твоём возрасте. У тебя даже волос ещё нет. Что, ты уже в порядке? Но это пока не столь важно. Может, нас уже не будет в живых. Во всяком случае, я не уверена в обратном. Давай, прыгай за мной.

И прыгнула в воду. Как будто какая-то разноцветная полоска, которую я запомнил. Все цвета в ней были. Ни на одной картине я такого больше не встречал. Лицо ее забылось, а цветное пятно ее тела я вижу до сих пор.

– Ну, прыгай! – крикнула она, выныривая из воды. – Мы поплывем на тот берег! Не бойся, я буду плыть рядом с тобой!

Я не боялся, неплохо умел плавать. На Рутке не раз плавал и плавал, саженьками, против течения. Она плыла рядом со мной, и когда мы подплыли к тому берегу, спросила:

– Устал? Давай выйдем, посидим немного.

Мы вышли, сели на берегу и смотрели на озеро с этой стороны.

– Отсюда озеро ещё красивее, – сказала она. – Красивая была бы и смерть на нем.

Она задумалась и через некоторое время снова сказала:

– Посмотри на меня. Не отводи взгляд. Я хочу, чтобы ты запомнил меня. Ты меня помнишь? Скажи, что будешь помнить меня. Ты обязательно выживешь. Потому что мы... – она замолчала. Я посмотрел на нее. Подумал, что мне показалось, но нет, по ее щекам текли слезы.

– Я не плачу, – возразила она, хотя я ничего не сказал. – Мы только что вышли из воды, и наши лица мокрые. У тебя – тоже, и я так же могу сказать, что ты плачешь.

Но я и в самом деле плакал. Не внешне. Я чувствовал что-то такое, как будто с другой стороны моих глаз, внутри меня, текли слезы. Пан когда-нибудь испытывал такой плач? Я только один раз, тогда. И впервые с тех пор, как она нашла меня в той яме, я почувствовал во рту слова.

– Я... – сказал, заикаясь. Потом: – Всегда... – потом: – сестра...

Она не дала мне договорить. Вся озарилась радостью:

– Ты говоришь! Говоришь! – она вытерла слезы со своих щек. – Плыдем обратно! Скажем всем, что ты говоришь!

Что я хотел тогда сказать? Не помню. Может, ничего важного. Но для меня это были самые важные слова в моей жизни, которые я хотел сказать и которые не сказал. Подумать только, сколько таких невысказанных слов пропало навсегда. А может они были важнее всех сказанных. Пан так не думает? Не могу понять только одного, почему она не хотела признаться, что плачет. А она плакала, могу поклясться, что плакала.

В этом возрасте вы, возможно, и не понимаете многих вещей, но чувствуете – глубже, чем можете понять. Не говоря уже о том, что человек видит все, видит, как на открытой ладони. Жизнь не может быть прожита втайне от кого бы то ни было, а тем более от ребенка. Нет в жизни такого занавеса, который можно было бы задернуть. Ребенок даже сквозь занавес видит. Иногда я думаю: не дети ли наша совесть. Потому как ее становится все меньше и меньше. Мир больше не хочет отражаться в наших глазах. А ребенку даже смотреть не надо. Мир – у него под веками. По-прежнему еще прозрачный, чистый мир. К сожалению, ребенок вырастает из этого. Сегодня мне трудно поверить, что и я когда-то тоже был ребенком. Я пас коров, но какое это доказательство. До этого пас гусей. Потом дед принял от меня гусей, а я за дедом принял коров. И мне кажется, что мы так и будем постоянно меняться с дедушкой. Он снова возьмет от меня коров, а я вместо него буду пасти гусей. Потом опять дед – гусей, я – коров. И так от коров до гусей, от гусей до коров будет всегда. Я убежден, что дедушка с самого начала всегда был дедушкой, а я... Я всегда буду ребенком.

Как бы то ни было, гусей труднее пасти, скажу пану. Смешаются ваши с чьими-то, все – белые, узнай потом: какие – твои, а какие – чужие. Не говоря уже о том, что и бьются

они. Иной раз окровавленные уже, а все одно, насакивают один на другого, и никак их не растащить, тем более гусаков. Мы выращивали много гусей, на перины, подушки для Ягоды, Леонки, когда они выйдут замуж. Мама хотела, чтобы у них были пуховые, а для этого нужны гуси, много гусей. И не один год их ощипывать, не два. На пуховую перину порядочно идет, а на гусе того пуха – не так уж и много. Так что я предпочитал пасти коров. Только вот знает ли пан, что такое пастбище? Да, луга, предназначенные для выпаса коров.

Только это еще не все. Чтобы долго не говорить, скажу пану одну вещь. Мать иногда руки надо мной ломала:

– Такой ты был хороший ребенок, когда гусей пас.

Через пастбище вы сразу входите во взрослую жизнь. Кто закончил пастбище, хотя бы ему и говорили, что он еще ребенок, но он уже не ребенок. А сестра все время обращалась со мной, как с ребенком. С первого же удивления, когда я вылез из ямы. Боже, ты еще совсем ребенок?! И так – до конца. Может быть, поэтому она позволяла мне смотреть на нее, когда купалась, а всех остальных боялась? Я не знаю, так ли это, не могу этого понять, особенно после того, что случилось однажды ночью. Я стоял и следил, чтобы за ней не подглядывали.

Да почти все. Когда кто-то видел, что она идет к озеру, сразу – куда-то вбок, крался за ней, прятался за кустами, за деревьями или даже на дерево залазил, если оно стояло прямо на берегу. Иногда и раненые ковыляли и ползли к озеру. Некоторые из них пугались, когда видели, что я стою на страже. Но не все. Многим было все равно, что я стою. Не один из них обзывал меня. Кто-то велел мне заткнуться и молчать. А был один, у него был бинокль, он ложился рядом со мной, у куста или у дерева, а я был для него как укрытие. Когда я шевелился, он говорил:

– Тихо, а то пристрелю.

Большой, видный был парень, а в глазах – зло плещется, и ни капли любви даже к самому себе. Для такого застрелить кого-то, что кусок хлеба съесть. Очень я боялся его. Просто ужас как. И стоял, как столб, когда он приходил подглядывать.

Однажды велел мне стоять вот так и ни гу-гу, а она там, на берегу, стояла раздетая, будто и не собиралась входить в воду, а просто подставила свое тело солнцу. Он лег, поднес к глазам бинокль, смотрел, смотрел, сердце у меня так билось-колотилось, как раньше никогда не билось, потом стукнул кулаком по земле, прижался головой к ней и застонал:

– О, Господи. Господи Иисусе, – он повернулся лицом вверх. – Оказаться вот так, у нее между ног. Человек должен знать, за что борется, – протер окуляры бинокля. – Все равно нас всех убьют, ей же только хуже будет.

Он протянул бинокль мне.

– Хочешь посмотреть? – я пожал плечами. – Может, это и к лучшему.

Но случилось так, что через несколько дней после этого, ночью, все неожиданно подхватились, построились в две шеренги, пересчитались и с оружием куда-то ушли. С ними и сестра. Караул, раненые и я остались в лагере. Вернулись только на третий день, под утро. Выглядели, как загнанные волки. Несколько из них были ранены, двоих несли на носилках, сплетенных из веток. А тот, которого я так боялся, нес на руках сестру. Она уже была мертва. Сам был ранен в голову, волосы залепаны кровью, кровь стекала ему за воротник. Он не хотел ее отдавать никому. Хотели сделать носилки и нести сестру на носилках, но он ее не отдал. Погибли еще четверо, но тех оставили. Он бросился под пули и вытащил сестру. Вот тогда он и был ранен. Сестра погибла, когда перевязывала одного из убитых. Напрасно. Потому, как тот успел только открыть глаза и сказать: «Зря, сестра». Он был мертв. Кто его услышал? Пан спрашивает, как будто не знает, что всегда кто-то да услышит. Не бывает такого, чтобы не нашелся кто-то, кто услышит.

Скажу пану, она чувствовала, что умрет. Или просто не хотела жить? Однажды я помог ей отнести белье на озеро. Его было много. То, что она постирала, прополоскала, я развешивал на ветках. День был, каких мало. Небо голубое, без единого облачка. Цвели

липы, медовый запах разлит в воздухе, жужжали пчелы, было жарко, погода была идеальной для стирки, сушки. Вдруг она оставила белье, села на берегу, подтянула ноги к подбородку, обхватила себя руками и смотрела, смотрела на это озеро.

– Мне так не хочется сегодня мыться, – сказала. – Я бы с удовольствием просто посидела у озера, полежала, ты понимаешь. И лежала бы так, лежала. Как думаешь, я утону? – она вскочила, стала раздеваться. – Пойду, пойду в воду. А ты присмотри. О, стой там.

И она прыгнула в воду. Я смотрел, как она плывет, и страх начал душить меня, что через какое-то время она будет просто лежать на воде, без движения. К счастью, она немного проплыла и вернулась. Оделась.

– Ну а теперь принимайся, сестренка, за стирку, – упрекнула она себя. И между одной и другой тряпкой, которые она подала мне, чтобы я их развесил, сказала: – Знаешь что, переезжай ко мне жить. Хочешь? Боже, неужели здесь, в этих лачугах, норах, можно жить? А когда брал от нее следующую вещь, чтобы развесить: – Что, ещё никто из них не приставал к тебе? – я не понял, о чем это она. – Ну, что так смотришь? Поэтому ты и будешь жить со мной. Жаль, что раньше об этом не подумала. Может, и мне удастся выспаться.

Я так и не понял, почему она не может выспаться.

Она принесла постельные принадлежности, сделала мне спальное место напротив своего. Ей пришлось немного подвинуть его, чтобы и мое поместилось. Из сосновой солом²⁴ она выбрала все шишки, желуди, палочки, доложила к ней сухой травы, сказала, чтобы было мягче, и положила на нее какие-то лохмотья. Иногда, когда ночь выдавалась прохладной, она спрашивала: не холодно ли мне, и на одеяло, которым я укрывался, накидывала еще и шинель. Но у нее я не стал спать лучше. Хотя, никто не храпел, не курил сигареты, не ругался, не кричал во сне. Она спала так тихо, что иногда я ее даже не слышал. Только вот эту тишину мне было тяжело переносить. Именно эта тишина и будила меня по нескольку раз за ночь. Я выныривал со сна, с тревогой прислушиваясь, спит ли она. Не услышав ее дыхания, поднимался с лежанки и прикладывал ухо к ней. И хотя успокаивался, что спит, потом частенько долго не мог уснуть.

Однажды ночью, не знаю – почему, проснулся в ужасе, поднялся и легонько прикоснулся ладонью к ее лбу, теплый ли он. Она проснулась, в страхе:

– Ах, это ты. Боже, как я испугалась. Никогда не прикасайся ко мне, когда я сплю. Запомни, не трогай.

– Я просто хотел...

– Я знаю, – сказала она. – Ложись, спи.

Бывало, и она поднималась с лежанки и, затаив дыхание, прислушивалась, сплю ли я. А убедившись, что сплю, хотя я только притворялся, брала шинель, если не накрыла меня ею, и куда-то уходила. Самые разные мысли проносились в моей голове за то время, когда я ждал ее, пока она вернется. А когда возвращалась, чаще всего делал вид, что только что проснулся.

– Разбудила тебя? Извини. Ходила искупаться. По крайней мере, ночью никто не подглядывает, – оправдывалась она. – Вода такая теплая. Полная луна. Озеро сейчас еще красивее, чем днем.

И так было каждый раз. Поэтому я решил: больше не буду притворяться, что только проснулся, когда она вернется. Но как-то она вернулась, я сделал вид, что сплю, она легла, вдруг слышу – плачет.

– Знаю, что ты не спишь, – сказала. – Я знаю. Они такие бедные. Но больше я не могу. Не смогу это вынести.

²⁴ Сосновой соломой называется хвоя, падающая с сосен.

Похоже, пан задумался? И над чем, можно спросить? Да, правда, есть о чем подумать. И не обязательно должна быть причина. Кстати, есть над чем. За границей я однажды видел скульптуру. Мыслитель. Пан видел? Ну, вот. Встал я перед ней и тоже задумался. Я бы с удовольствием спросил у нее, о чем она так задумалась. Но как спросить скульптуру? Если бы человек хотел так над собой подумать, он тоже, наверное, стал бы скульптором. Но, в таком случае, скажите, неужели только скульптуры, картины, книги, музыка способны над нами задуматься, а сами мы – уже нет?

Я ничего не имею в виду. Просто спросил пана так, как спросил бы эту скульптуру. Ведь я знаю, что, как и она, пан тоже мне не ответит. Человек иногда о чем-то спрашивает, но не ждет ответа. Самих вопросов, согласитесь, вполне достаточно. Тем более, что никакой ответ все равно не удовлетворил бы нас. И, как по мне, это совсем не зависит от того, о чем мы спрашиваем. Важно только кто кого спрашивает. Даже когда мы спрашиваем самих себя, всегда есть кто-то, ради кого мы задаем этот вопрос. Это только кажется, что тот, кто спрашивает, тот себе и отвечает. Однако, если пан подумает, всегда спрашивает кто-то другой. И кто-то иной отвечает. И не отвечает ли он потому, что – вполне возможно! – размышляет. Каждый вопрос выбирает в нас кого-то подходящего для себя. И даже самые мелкие вопросы – кого-то другого. И не только того, кто должен ответить на них, но и того, кто сумеет их задать. На каждый вопрос обязательно будет отвечать кто-то другой. Ведь в нас есть и ребенок, и старик, и юноша, и тот, кто собирается умереть, и кто сомневается, и кто надеется, и у кого больше нет никакой надежды. И так далее, и так далее.

Если бы все было иначе, никто не должен был бы спрашивать себя ни о чем, ему не было бы нужды о чем-то спрашивать себя и отвечать себе. Между тем, никто не может сказать о себе, что это он, каким он был и каким будет. Никто не может провести границу или определить самого себя, как себя. Поэтому мы все еще должны задавать себе вопросы, один раз из-за этого, один – из-за того, другой из-за чего-то другого, спрашивать один раз того, один – иного, а третий – кого-то другого, хотя все они останутся без ответа.

Да, мы лущим фасоль, можно сказать, пан есть, я есть, мы ведь чувствуем в руках каждый стручок, каждое зернышко, которое вылущиваем из этого стручка. Тем не менее, значительно важнее, как пан меня, а я пана представляю, как я себя по отношению к пану представляю, а он – себя по отношению ко мне. То, что мы видим друг друга, что мы лущим, не является доказательством. Недостаточно было бы, если бы мы лущили только для того, чтобы могли испытывать, что мы лущим. Наше взаимное самовосприятие лишь определяет размерность того факта, что мы лущим. И так происходит со всем. Даже скажу пану, по-моему, только то реально, что воображаемо.

Чему пан удивляется? Тогда не понимаю, почему пан пришел ко мне за фасолью. Пан ведь не мог знать, что я сажаю фасоль. Не так много, в основном, для себя, как я уже говорил. Тем более, пан не мог предположить, что продам. В конце концов, кто в это время может прийти ко мне? Максимум кто-то из мертвых. Поэтому я и не ждал пана. К тому же, уже собирался лечь спать. Домики бы ещё обошел и... Да, примерно в это время и ложусь. Рано, так и ночь сейчас рано наступает. Я все еще читаю в постели, слушаю музыку, прежде чем заснуть или не заснуть, по-разному бывает. Засну, но потом, через час, иногда через два, просыпаюсь, снова читаю, слушаю музыку, пока снова не засну. А если снова проснусь, встану и буду обходить домики. Иногда, однако, наступает ночь, как день, я ложусь, зная, что не усну. Тогда я встаю и перекрашиваю эти таблички. Я медленно иду, вы видели, но надеюсь, что успею. Если бы у меня были прежние руки, я бы тогда еще и играл...

Тук-тук в дверь, и кого это несет, подумал я. Ко мне? А это пан о фасоли спрашивает. Я понимаю, если бы пан спросил, как отсюда уехать и в каком направлении. Или который из домиков – пана Роберта, потому как пан хотел бы в нем остановиться, ну, я бы сказал

пану – этот и где ключ. Но то, что пан хотел бы купить фасоли, признайтесь, могло вызвать у меня подозрение. А если бы не было? Впрочем, пан был уверен, что это не так. Он думал, что скоро повеселится. Не отрицайте этого. Я даже подумал, так ли, нет, но, вполне возможно, истории жизни было бы вполне достаточно. До меня вот только дошло, что пан мне кого-то напоминает. Еще в этом плаще, шляпе, где-то мы уже должны были встретиться, хотя бы случайно. Да, нет, да, нет, да, я порылся в памяти, где, когда? Но память как колодец – чем глубже, тем темнее.

И, простите за вопрос, как бы пан определил, что такое случай? Почему спрашиваю? Потому что как-то за границей, еще до полудня, шел на репетицию, а с противоположной стороны, вижу, идет кто-то, немного похож на пана, как я сейчас смотрю на него. Мы еще не поравнялись, нам не хватало десятка шагов друг до друга. Может, я и не обратил бы на него никакого внимания, если бы он, приподняв шляпу, вдруг не поклонился мне. Или я ему первый поклонился, желая предупредить его, потому как заметил, что, улыбаясь мне, он поднял руку над шляпой, чтобы ее приподнять. Он или я, не имеет значения. И так, держа, он – свою шляпу над своей головой, я – свою над своей, и улыбаясь друг другу, в уверенности, что пройдем мимо, мы разминулись.

Но сразу, как только мы разминулись, я оглянулся и увидел, что и он смотрит на меня. Где мы встречались с ним и когда, я не мог вспомнить. И он, видимо, тоже не мог вспомнить, потому как зачем ему оглядываться и смотреть мне в спину, если он помнит, где, когда. Я прошел десяток шагов и снова оглянулся. Возможно, пан не поверит, но он тоже оглянулся. Я подумал, подойду, спрошу его, откуда мы знаем друг друга. В то же самое мгновение он так же двинулся в мою сторону и, как оказалось, с тем же намерением. Мы подходим, снова приподнимаем шляпы над головами, но, вижу, он слегка смущается, да и я разочарован, потому что мы оба видим, что не знаем друг друга.

– Прошу прощения у пана, – сказал я. – Мы, кажется, не знакомы?

– Действительно, – говорит он. – И я вас не припоминаю.

– Ну, обознались. Случается. Еще раз приношу пану свои самые искренние извинения, – и, приподняв шляпу, я уже хотел уйти. Но он остановил меня.

– О, уверен, это не случайно, дорогой пан, – сказал он. – Нет такой вещи, как случайность. Да и вообще, что такое случайность? Это – не что иное, как оправдание того, чего мы не способны понять. Поэтому мы не должны просто так расставаться. Давайте хотя бы выпьем кофе. Не стесняйтесь. Я приглашаю. Посмотрите, мы даже стоим перед кафе. Здесь, кстати, подают хороший кофе. Время от времени захожу сюда.

Действительно, кофе был хорош. Но вот разговор у нас не клеился. Особенно в начале. Я почти не говорил, потому что о чем можно говорить с незнакомым человеком. Оглядел кафе, хотя, вообще-то, там и смотреть было не на что. Кафе как кафе. Не слишком большое, всего с десяток столиков, зал довольно темный. Мне не нравились темные кафе. Темные деревянные панели – до половины стен, а от середины и до самого потолка – темно-серые обои.

Столики мне показались слишком массивными для кафе. Спинки стульев доставали почти до самой головы, да и вообще, были не очень удобными. Мне понравились только бра на стенах и подсвечник под потолком. Каждое бра состояло из двух женских фигур, которые в вытянутых руках держали подсвечники, а в них, словно еще не было электричества, – свечи. И каждая из этих женщин относилась к разным эпохам. Точно так же и подсвечник был не электрический, а щедро заставленный свечами и богато украшенный кристаллами разных форм.

Он заметил, что я осматриваю кафе, и начал рассказывать мне о нем. Здесь почти ничего не изменилось со дня его основания, как он сказал. Он назвал год, точно не помню, но больше двух веков. Те же столы, стулья, бра, подсвечник, обшивка, обои в тех же цветах и узорах, как и более двух веков тому назад. Ну и точно так же в сумерках зажигаются свечи. Все это можно установить не только из различных описаний интерьера, как он сказал, есть и фотографии, и на нескольких картинах оно изображено. Один из художников

собрал всех самых известных личностей, которые в течение более двух столетий сюда приходили, как бы разом, в один день и в одно время все они пришли и сели за столики. Некоторых из них он называл по имени, фамилии, не объясняя, тем не менее, кто из них кем был. Видимо, он решил, что я должен знать. Но мне эти имена тогда ничего и ни о чем не говорили.

При некоторых именах он загорался, как будто сам с ними здесь встречался, хотя жили они полвека, век тому назад, или даже еще раньше. А он многое знал о них. Часто знал, кто и за каким столом сидел. И то ли один, то ли с кем-то. То ли он пил кофе, чай, то ли вино любил и, если любил, то какое. Какие пирожные ему больше всего нравились или он вообще их не ел.

А кроме всего этого: кто сидел за нашим столиком, за который мы только что сели. Первый раз я услышал это имя. Пан его знал? Тогда пан знает, чем он занимался. Одно это имя и запомнилось мне из всех тех, что он перечислил. И, вполне возможно, именно поэтому, как пан только что сказал. Он тоже толковал сны.

Потом я купил себе книгу с этими его снами. Мы тоже могли бы оказаться в них. Пан, я. И все. Вроде бы, это – его сны, но на самом деле это сны о человеке. Говорят, он каждый день приходил в это кафе. И всегда в одно и то же время. Минутой раньше, минутой позже. Можно было сверять часы, когда он входил. Он всегда доставал часы из кармана и проверял, вовремя ли пришел. И все в кафе тоже вытаскивали свои часы и проверяли, насколько точно они идут. Иногда он пил кофе чашку за чашкой, особенно, когда что-то писал на салфетке. Иногда он просил только стакан воды, когда задумывался, и так сидел.

– Может, он кого-то ждал? – спросил я, давая понять, что слушаю. Ведь пан наверняка согласится, если кто-то не договаривается с кем-то о встрече, но хотел бы с ним встретиться, он будет приходить каждый день, в один и тот же час, в то место, где они когда-то встречались. Как будто само место способно заставить этого человека прийти. Это – обманчивая вера в то, что места более постоянны, чем время и смерть.

– Я этого не знаю, – сказал он. – Ожидание – это что-то постоянное в нас. Часто, знаете ли, мы просто не осознаем, что от рождения до смерти живем в состоянии ожидания. А он, вероятно, привязался к этому кафе, к этому столику. Иногда они в разы сильнее привязанности к другому человеку.

Я ничего не сказал. Просто не понимал, как можно привязаться к кафе или к тому же столику.

Поэтому, если на входе он видел, что его столик занят, он сразу же уходил, даже если другие столики были свободны. Пришлось хозяину кафе извиниться перед ним и заверить его, что подобное больше никогда не повторится. Случалось даже, что он скандалил с тем, кто занял его столик. Однажды он ударил своею тростью об этот столик. За ним как раз сидели двое молодых людей, которые не знали, что это его столик, возможно, впервые зашли в кафе.

Да и, кроме того, пока молодые, мир все еще принадлежит им, тем более какой-то стол в том или ином кафе. И они не согласились пересесть за другой, потому что зачем им это, с какой стати! Кафе, как известно, для всех, и все столы для всех. Кто первым сядет, того столик. А тут приходит кто-то и говорит, что они заняли его столик. Я бы тоже не стал пересаживаться. Может, если бы он вежливо попросил, сказал, что не может за другим столом, так как даже кофе или там чай будут уже другого вкуса. Да, я бы понял. Но он их, как из своей квартиры, попросил.

Как-то он ударил кого-то перчаткой по лицу за то, что тот посмел занять его столик. Все это неизбежно окончилось бы дуэлью, так как тот, другой, в ответ бросил ему свою перчатку, а это означало, что он требует удовлетворения. К счастью, владелец кафе подобрал перчатку и как-то все уладил. После этого случая в подставку для салфеток вставили листок, что столик заказан. Но он уже больше никогда не приходил.

И вдруг он сказал что-то, что заставило меня задуматься:

– Умер хозяин кафе. После него кафе перешло к его сыну. Потом от сына уже к его сыну. А на этом столике, в подставке для салфеток, по-прежнему была вставлена записка, что он заказан. Может, если бы он знал, что столик забронирован, что он ждет его... Потом началась война и не успела она закончиться, как кафе заняли солдаты. И для них не имело никакого значения, чей это столик, зарезервирован ли он, не зарезервирован, потому что все столики были их. Садись, куда попало, еще на эти столики и ноги вытягивали.

Неожиданно он спросил меня, не съем ли я пирожное.

– С удовольствием, – сказал я, хотя избегал пирожных, точно так же как и кофе пить мне не следовало. Я в то время как раз страдал язвой двенадцатиперстной кишки. Он кивнул официантке. Она подошла к нам с подносом, улыбнулась ему, видимо, знала его, потому что это была не дежурная улыбка официанта. Он оглядел поднос и сказал:

– Пожалуйста, возьмите вот это. Только здесь, у них, есть такие пирожные. Я кивнул, мол, пусть будет так. И себе он такое же пирожное попросил. Но когда официантка схватила щипцами пирожное и собралась первым делом положить на его тарелку, он направил ее руку на мою и только потом – на свою.

– Правда, вкусные?

Я боялся, чтобы эта боль не усилилась, ведь тогда я даже не смогу придумать, что мне сказать. Обычно, когда боль становилась невыносимой, я мог только молчать. Однако тогда и это молчание дорого мне обошлось. Правда, у меня были при себе таблетки, но не буду же я их принимать прямо на глазах незнакомца.

Он мог бы спросить, что со мной не так. И разговор, возможно, перекинулся бы на эту язву двенадцатиперстной кишки. А если и с ним что-то не так, мы могли бы до самого конца поговорить о болезнях. На них ведь, как пан знает, обрывается любой разговор. Только для того ли мы по ошибке поклонились один другому на улице, чтобы говорить о болезнях? Еще он решил, что это не было случайностью. Я предпочел больше ничего не говорить. Время от времени вставлял какое-то слово, но это скорее для подтверждения его слов, как о том пирожном, когда он сказал, что вкусно, а я сказал, да, мол, действительно.

– А вы знаете, – сказал он, прервав наконец молчание, – что пирожные здесь делают по таким же старым рецептам, как и это старое кафе? Точно так же варят и кофе. Не чувствуете, что кофе здесь имеет совсем другой вкус, чем где-либо еще?

– Действительно, – подтвердил я.

– О, прежний вкус кофе, – словно он дал волю какой-то тоске. Я не знал, что значит прежний вкус кофе, потому что с детства помнил только зерновой ячменный кофе с молоком. Ну а потом, в этой школе, после войны, без молока, без сахара, у него был вкус горькой воды.

– Поэтому я иногда и захожу сюда, – сказал он. – Интересно, как они его варят? Как-то спросил об этом хозяина, но он только и ответил, что рад, что мне понравилось. Подумать только, и у кафе тоже есть свои секреты. Прежний вкус кофе... – задумался. Но сразу же, вырываясь из этой задумчивости: – Вы когда-нибудь размышляли о том, насколько сильно мы связаны с прошлым? Не обязательно нашим собственным. В любом случае, что такое – наше прошлое? Где его границы? Это что-то вроде неопределенной тоски, только по чему? Не по тому ли, чего никогда не было и что все-таки прошло?

Прошлое – это только наше воображение, а воображение нуждается в тоске, оно прямо-таки питается ею. Прошлое, уважаемый, не имеет ничего общего со временем, как принято считать. Впрочем, что такое время? Существует ли вообще такая вещь, как время, не считая календарей и часов? Мы просто изнашиваемся, только и всего. Как и все вокруг нас. Жизнь – это энергия, поэтому по ходу жизни она, вполне естественно, истощается. Но, возвращаясь в прошлое, она никогда не исчезает, так как мы постоянно воссоздаем ее заново. Ее создает наше воображение, она устанавливает нашу память, она дает ей родимые пятна, диктует ее выбор, а не наоборот. Воображение – земля нашего существования. Память – только функция воображения. Воображение – единственное место, с которым

мы чувствуем себя связанным, в котором мы можем быть уверены, что именно здесь мы живем. И умирая, мы умираем в нем. Вместе со всеми, кто когда-либо умер, а уже они помогают и нам умереть.

Он торопливо полез во внутренний карман пиджака и достал бумажник.

– Может, вы позволите мне все уладить? – я предупредил его, думая, что он собирается заплатить по счету и тем самым дает знак, что наша встреча окончена.

– Ни в коем случае, – возразил он. – Это я вас пригласил. Вы мой гость. Пожалуйста, не забываете об этом. Но сейчас я хочу вам кое-что показать.

Он стал рыться в отделениях бумажника, доставая какие-то фотографии, визитки, документы, наполовину сложенные карточки, билеты. Он бросал все это на стол, что-то упало на пол, но не успел я нагнуться, он бросился, как ястреб на жертву, предупреждая меня.

– Разве у меня нет? Как это могло произойти? Я всегда ношу с собой, – слегка обеспокоенный, он упрекнул себя. – Нет. У меня нет. Тем не менее, у меня нет. Не понимаю. Прошу меня простить, – и положил бумажник обратно в нагрудный карман.

– А не выпить ли нам ликера? – неожиданно спросил он, словно забыв, что он хотел что-то показать мне. – У них тут прекрасный миндальный ликер. Может, вина? Сожалею. Сам не понимаю.

Если бы я был один, другое дело. Хотя не знаю, было ли у меня тогда желание что-либо выпить. Всегда должна быть какая-то цель, чтобы чувствовалось и желание. В равной степени это относится и к желанию жить.

– Вы откуда? – неожиданно спросил он.

Удивил он меня, потому как я думал, что он не будет спрашивать об этом, раз до сих пор не спросил. Мы сидели довольно долго, в чашках у нас уже не было кофе, а на тарелках – только крошки от пирожных. В подобных ситуациях обычно сразу, в начале встреч, меня спрашивали, откуда я родом. И это было понятно, потому что по моей речи можно было сразу догадаться. С первых же моих слов сам собой напрашивался вопрос: «А вы откуда?».

– Я так и думал, – сказал он. – Даже был уверен. Уже там, на улице, когда вы извинились. Я первый поклонился вам. Кто знает, не был ли я уже уверен в этом, когда увидел, как вы потянулись к шляпе. Мое лицо не могло показаться вам знакомым, ваше – да. Как будто в мгновение ока сработала моя память. Я начал быстро вспоминать: где, когда. И внезапное озарение, да!

– Вы когда-нибудь бывали? – спросил я, хотя, может, с моей стороны было невежливым перебивать его. Но мне показалось, что вполне уместно спросить, возможно, он даже хотел, чтобы я спросил его об этом.

– Нет, никогда, – резко возразил он, едва услышав мой вопрос. – Жаль, что здесь курить нельзя, – сказал. – Я не курю, но бывают моменты, когда мне хочется покурить. Вы курите?

– Нет, – сказал я. – Бросил. Раньше курил.

– Это хорошо. Очень хорошо. Пустая трата здоровья, – и посмотрел куда-то в сторону, неподвижным взглядом.

Мне пришло в голову, что, возможно, он увидел кого-то из тех, кто за эти два с лишним столетия приходил сюда. Может, он даже увидел в дверях того, кто обычно сидел за нашим столиком. И я ждал, что он вот-вот встанет и скажет, что мы извиняемся перед ним. Мы уже уходим. Но он сказал тихим бесцветным голосом:

– Был мой отец.

– О, так могли бы когда-нибудь пообщаться с вашим отцом, – чуть ли не с воодушевлением бросил я, обрадовавшись, что представилась такая возможность: и мне сказать что-то еще.

– Во время войны, – перебил он меня.

Странно, что это произошло со мной. Может потому, что я уже был погружен в то, что хотел ему еще сказать, раз представилась такая возможность, и в ответ на эти его слова, я сказал:

- Всегда приятнее общаться с тем, кто уже побывал. Тем более, с вашим отцом.
- Отец мертв, – оборвал он мои ободрения.
- О, простите. Я не знал. Примите мои соболезнования.
- Вы ведь не знали моего отца, – чуть не съязвил он. – Тем не менее спасибо.

Мне стало не по себе. Под ребрами справа я почувствовал легкое сдавливание, боль в двенадцатиперстной кишке снова подала знак, что все начинается. Так обычно и начиналось, поначалу только легкое сжатие под ребрами с правой стороны. Иногда она отступала, как тогда через минуту после кофе и пирожного. Но теперь она показалась мне более обширной, к тому же начала продвигаться от бока к позвоночнику. Меня охватило беспокойство, что если она будет продолжать расти, то скоро станет невыносимой. Я побледнел, пот выступил у меня на лбу, и ему трудно было этого не заметить.

– Вам нездоровится? – спросил. Что я ему должен был ответить? Что это после кофе и пирожного? Кофе отличный, вкусное пирожное, я сам подтвердил. Нет, нет, пожалуйста, продолжайте, ни то, ни другое говорить было неуместно, потому что признавать, что я от чего-то страдаю, было совсем неприлично. Тем более, в такой момент, когда он мне говорит, что его отец мертв, а мне что ссылаться на свою язву двенадцатиперстной кишки? Согласитесь, это было бы, мягко говоря, неловко. Боль с болью никогда не должны идти друг против друга. Каждая боль сама по себе, единственная, уникальная.

Я думал, как бы незаметно засунуть руку под пиджак и помассировать эту нарастающую боль, иногда это приносило облегчение. Я так часто спасался, будучи в компании. Или, например, ночью. Самая сильная боль обычно приходила именно ночью. Когда я не мог больше терпеть, я вставал с кровати и, присев на корточки, как бы втирал в себя эту боль рукой, а еще сжимался всем телом, прижав подбородок к коленям. И иногда в таком положении проводил всю ночь до самого утра, потому что только так, она давала себя перетерпеть. Так я с этим и жил. С каких пор? На какой-то стройке все началось. Сначала только весной и осенью. Не раз собирался пойти к врачу. Но летом, потом зимой проходило и забывалось. Я сильно похудел. Все спрашивали меня, что с тобой происходит, что ты так плохо выглядишь? Заболел чем-то? Я не болею, просто так выгляжу. Больше не мог терпеть чьего-либо сочувствия. Мне не было больно, но если кто-то сочувствовал мне, я сразу же чувствовал боль. Пил льняное семя, а как же. Так я и делал, как пан говорит. Столовую ложку заливал на ночь теплой водой, а утром пил натошак. Немного помогало. Водки я уже почти не пил. Есть тоже старался только вареное, нежирное. Потом уже перешел на строгую диету. Так мне коллега, пианист из оркестра, посоветовал. Он болел тем же. Только он ходил к врачу.

Пан не поверит, но когда я играл, мне никогда не было больно. До поздней ночи играли, до утра не раз играли, и не болело. Можете себе представить, при моем росте я весил на двадцать кило меньше, чем следовало бы. Челюсти выпирали у меня из лица, как будто были вытащены из моего тела, вместо щек появились ямки, а нос заострился и даже стал как будто длиннее. Уже позже, много позже, когда я вышел из этого состояния и немного набрал вес, моя жена как-то призналась, что, глядя на меня, думала, настанет ли такое время, что мои челюсти и щеки выровняются. Я шил смокинг для нашей свадьбы, портной измерял меня, обмерял и в какой-то момент говорит:

– Ну, вы, извините, и тонкий. Ничего, я оставляю вам большие вкладки по швам, если вы когда-нибудь захотите его расширить. Смокинг ведь шьется не на один раз.

Я чувствовал, что у него был «худой» на кончике языка, но он из профессиональной вежливости сказал «тонкий». Как я вообще мог быть не худым, если почти ничего не ел. Что бы ни съел, сразу становилось больно. Вина или пива я больше не пил. На вечеринке, например, все ели, пили, а я просил стакан молока. Только молоко. Еще стакан. Никто не мог понять, почему ничего не пью, одно молоко. Убеждали меня, советовали, шутили, пи-

ли за меня, а я за них это молоко. И я хотел одного, чтобы они оставили меня в покое, хоть на время забыли бы обо мне.

Благодаря этому стакану молока я познакомился со своей будущей женой. Праздновали день рождения контрабасиста из оркестра, в котором я играл, и попросил, как обычно, стакан молока. Из-за этого стакана молока она обратила внимание на меня. Но я этого не заметил. Впрочем, когда что-то болит, даже на красивую женщину человек не обращает внимания. Да к тому же на этом дне рождения была толпа гостей. Я стоял в стороне, и она, вынырнув из толпы, подошла ко мне.

– Вы любите молоко? Мне тоже нравится.

– Тогда можно попросить еще один стакан, – сказал я.

– Нет, – сказала она. – Из вашего выпью. Можно? – а потом мы потанцевали.

Потом я уже ходил по врачам, в больнице шесть недель пролежал, меня осматривали, и, наконец, решили, что только операция. Я не согласился. Ну, они делали мне уколы, давали таблетки. До сих пор помню, «робуден». Целый год я чувствовал себя хорошо. Через год, однако, наступил рецидив, стало хуже, хотя при этом я чувствовал себя даже немного лучше, чем раньше. Но все одно, было тяжело. Я уже думал, что со мной все кончено. Жена плакала тайком, но по ее глазам сразу было видно, что она плакала. Есть такие глаза, пан не узнает по ним, что они плакали. Просто вытрите их. А бывают такие, что слезы в них долго стоят, даже если они давно плакали. И у нее были такие. Я делал вид, что ничего не замечаю. Но как-то, уже поздно, возвращаясь из заведения, жена еще не спит. Она посмотрела на меня, и что-то торкнуло меня!

– Ты плакала, – говорю.

– Нет. Почему? У меня нет причин.

– Со мной у тебя всегда будет причина, – говорю. – Ты ошиблась в своем выборе. Тебя соблазнил тот стакан молока.

– Не шути так, – и расплакалась.

А через некоторое время она отвела меня к травнику. Врач, только травами лечил. Тогда еще врачи не верили в травы. Я не знаю, как она его нашла. Она записала меня на прием, пошла со мной. Старик был, ворчал, ворчал, когда я рассказывал ему, какие у меня симптомы и как давно. И он дал мне большой пакет с травами. Жена заваривала мне, следила, чтобы я пил регулярно, три раза в день в одно и то же время, утром и в полдень за двадцать минут до еды, вечером за двадцать минут после еды. Помимо того, что еще и вечером наливала мне в термос, когда я шел играть.

И что пан скажет, уже после первого месяца мне полегчало, гораздо меньше болело, я мог больше есть, начал набирать вес. А после четырех совсем вернулся к своему нормальному весу. Все ел, даже рюмку спиртного время от времени выпивал, и ничего. Целый год эти травы пил, а потом уже только весной и осенью. И до сих пор ничего. Может, пан хочет записать их для себя? Только мне нужно найти лист бумаги и что-то, чтобы записать. А это может и позже случиться. Помню, не забыл. Если бы я все так помнил. Только разве тогда можно жить? И будет ли такая память правдивее, сомневаюсь. Нет, мы с женой разошлись по другой причине. Я не хотел детей, как я уже говорил пану, а она очень хотела. Я любил и люблю детей, об этом тоже говорил. Но я не хотел своих. Почему? Это я уже оставляю пану на его усмотрение. Сам я не могу сказать правду.

Сожалею ли я об этом сегодня? Может, да, может, нет. Мы расстались, когда я уже чувствовал себя хорошо, почти забыл, что был болен. Жены не уходят во время болезни. Тем более, она, она бы никогда не бросила меня из-за этого. Правда, я ей долго не признавался, что болен. Когда она узнала об этом, то даже сказала мне как-то:

– Я уйду от тебя, если ты не будешь лечиться.

Я не хотел мучить ее своей болезнью. Я бы никого не посмел мучить своей болезнью, особенно жену. Больно, больно. Человек привыкнет к любой боли, если уже постоянно болит. Как тогда, в этом кафе: мне было больно, и я прислушивался к этой боли.

И, может, под воздействием той нарастающей справа, под ребрами, боли, я спросил:

— Он что, был болен?

Не стоит под влиянием собственной боли задавать кому-либо вопросы. Теперь я это прекрасно понимаю.

— Нет, — сказал он. — Покончил с собой.

Сказал, казалось бы, спокойно, но в то же время поднес чашку к губам, хотя кофе в ней не было. И добавил:

— Столько лет прошло, а для меня это все еще очень болезненно. И с каждым годом все болезненнее. Поэтому спасибо, что позволили пригласить вас на кофе.

Этого, скажу пану, я не понял. Мы по ошибке поклонились друг другу, а он поблагодарил меня.

Вдруг он неожиданно спросил:

— Вы с какого года? Так я и думал. Мне тогда было примерно столько же, что и вам, когда отец вернулся с войны. К счастью или несчастью, он не попал в плен. Некоторое время скрывался, так что не сразу вернулся. Мы его уже и не ждали. Как вдруг, неожиданно, переодетый в гражданское, обросший, лохматый, он вернулся. При таких обстоятельствах можно было бы решить, что ничего более радостного и произойти не могло. Да, как правило, именно так и считают, когда кто-то возвращается с войны... И это — правильно. У каждого возвращения с войны есть эта радость, она изначально заложена в человеческую природу. Если только кто-то не возвращается в пустой дом, к развалинам. Примите к сведению, что всегда значило возвращение с войны. Кто-то вернулся, кто-то не вернулся, уже одно это задает масштаб нашему опыту. Кто-то вернулся, кто-то не вернулся, вырастает в ранг разлома наших чувств.

Как будто человеческая судьба постоянно колеблется между радостью и болью. Если вы посмотрите на войну с этой точки зрения, может показаться, что только для таких возвращений и ведутся войны. Будто не было и нет более высокой меры для радости человека. Или для большей боли, если кто-то не вернулся. Таким образом, возвращение с войны могло бы служить самым убедительным доказательством того, что возможен триумф жизни над смертью. Тем не менее, это триумф, который мы должны постоянно доказывать самим себе. Потому что это похоже на возвращение с того света. Поэтому, когда кто-то вернулся даже калекой, без рук, ног, глаз, из самой природы возвращения следует, что его должны встречать с радостью. Он приносит эту радость на порог дома, внося в него свою спасенную жизнь. К сожалению, нашей радости по поводу возвращения отца не было и в помине. Когда он вошел, он посмотрел на нас холодными глазами. И когда мать, разрыдавшись, хотела броситься к нему и обнять, он остановил ее. Как и меня, и моего младшего брата, когда мы цеплялись за него, он отталкивал нас. Хотя, по крайней мере, брата он должен был бы поднять на руки и сказать: «Ого, как ты вырос, сынок!».

Ведь это — первое правило возвращения. Тем более, когда он уходил на войну, брат только учился ходить. Он попросил у матери стакан воды. Мы с братом оба жадно смотрели на этот стакан, когда он пил воду, как будто не его, а нас мучила жажда. Его кадык так смешно двигался, когда он глотал. И чтобы дать волю нашей радости, которую он погасил, оттолкнув нас, мы рассмеялись над его кадыком. Мать воспользовалась нашим смехом, видимо, что-то уже почувствовав, и сказала:

— Видишь, как радуются мальчики.

Он ничего не сказал. Только посмотрел на нас холодными глазами, и смех умер внутри нас. Отдал матери стакан и, не говоря ни слова, прошел в гостиную. Тяжело опустился в кресло. Мать начала его спрашивать, не устал ли он, может, приляжет, а может, искупается, переоденется. Все приготовлено. Все его рубашки, пижамы выглажены, костюмы вычищены.

Даже бритву — попросила, и сосед наточил, мог бы побриться. Даже мыло для бритья ей удалось достать. Или, может, он сначала хочет поесть. Есть пара яиц, она чудом раздобыла. Он предпочел бы жареное или вареное? Однако она ничем не могла расшевелить его холодные глаза. Сидел, не говоря ни слова, погрузившись куда-то вглубь самого себя.

Или, может, не верил, что он дома, вернулся. Мать, беспомощная, уже и не знала, что делать, что говорить. Она попеременно радовалась, плакала. Куда-то бежала, словно вспомнила о чем-то, а потом возвращалась с пустыми руками. Жаль мне ее стало. Я подумал: сяду за пианино, сыграю ему, может, это убедит его, что он дома, вернулся.

Я не знал, ожидает ли он, что я подтвержу или скажу обратное сказанному им, потому что он прервался, задумался, смотрел сквозь меня, куда-то вдаль. Хотя, я ничем не способствовал его откровениям, мне казалось, что я коварно вторгся в его жизнь. К тому же мне становилось все хуже и хуже. Поэтому я подумал, что появилась возможность взглянуть на часы и сказать: извините, уважаемый, но я уже должен быть на репетиции, что, впрочем, было бы правдой, может, в следующий раз, если у вас будет такое желание. Теперь уже я приглашаю вас на кофе. Мы можем даже здесь, в этом кафе, завтра, послезавтра? В это же время? Пожалуйста, вот моя визитная карточка».

Неожиданно он опередил меня:

– А вы на чем играете?

Я был поражен, потому что еще не успел сказать ему, что уже должен быть на репетиции.

– На саксофоне, – сказал я. И, воспользовавшись тем, что он спросил меня об этом, уже собиравшись сказать, что мне нужно идти на репетицию, потому что и так – уже опаздываю. Прошу его простить меня.

Когда он, как мне показалось, с оттенком пренебрежения, повторил:

– На саксофоне, – и снова повторил: – на саксофоне, – задумался. – Без разницы, на чем играешь. То, что не исполнено, так и остается неисполненным. Поэтому я был в своем праве думать, что когда я ему сыграю... И нам тоже. Потому что и нам было нелегко поверить, что он с нами, вернулся. За всю войну мать глаза выплакала. Всю войну мы молились за него. И надежда ослабевала по мере того, как война затягивалась. Письма от него приходили все реже и, в конце концов, перестали приходить. Мать писала, а от него не было ничего. Поэтому она начала привыкать к тому, что нам придется жить без отца. Война закончилась, а он все не возвращался, так надежда в нас едва теплилась. И вот, почти неожиданно, он вернулся. Признайтесь, в таких случаях легче смириться с тем, что кто-то никогда не вернется, чем поверить, что вот он, вернулся.

Плач в этом случае, пожалуй, более уместен, чем радость. Плач как будто больше соответствует ситуации, когда не знаешь, что с собой делать. Однако мы сдерживались, чтобы не заплакать, а то, что в его холодных глазах могут появиться слезы, трудно было представить. Но если не слезы, то – просто музыка. Когда сердце разрывается, только музыка. Я уже собиравшись опустить руки на клавиши, когда он, поднимаясь с кресла, сказал:

– Я пойду, посплю немного.

Мать пыталась удержать его, говорила, чтобы он подождал, она пока застелет ему постель, и он бы за это время что-то съел, помылся. Но он как будто ее не слышал. Тяжелым шагом, почти с усилием над собой, пошатываясь, он прошел в свой кабинет, а не в спальню. Мать достала одеяло, подушку и тут же последовала за ним. Она долго не возвращалась. Мы с братом ждали ее у дверей кабинета. Выйдя, она увела нас оттуда, после чего наказала нам, чтобы, не дай Бог, мы не заходили к отцу. Даже близко не подходили к этой двери. И вообще вели себя тихо. А мне сказала, чтобы я ни в коем случае даже не пытался играть.

С тех пор он спал в этом кабинете, на диване. Выходил только в ванную или в туалет. И сначала приоткрывал дверь, а когда замечал, что я или брат где-то рядом, тут же закрывал ее. Впрочем, мать приглядывала за нами, чтобы мы без надобности не оставались в прихожей. Как-то я спросил у матери, почему отец не хочет нас видеть.

– Пока нет, сынок, – ответила она. – Пусть отдохнет. Вы понимаете, какой он, должно быть, усталый.

Он и не ел с нами. Мать относил еду ему в кабинет. Три раза в день. И всегда на серебряном подносе. Том самом, на котором когда-то служанка подавала нам еду. В войну

мы стали питаться так плохо, что даже забыли о серебряном подносе. И прислуги уже давно у нас не было. То, что мы ели, не заслуживало ни серебряного подноса, ни прислуги. Часто вообще нечего было есть. Мать обменивала разные ценные вещи на еду. Но обменять этот серебряный поднос так и не решилась. Хотя, если отец не вернется, он не будет уже нужен. Как-то она все-таки достала поднос из комода с намерением обменять его, но вдруг, словно в каком-то предчувствии, сказала:

– А если он вернется, на чем я ему подам?

И вместо подноса она обменяла их свадебные кольца.

Когда она шла к нему с едой, а ведь несла этот поднос обеими руками, она никогда не позволяла, чтобы кто-то из нас, я или брат, открыл ей дверь. Она несла ему обед, поднос, наполненный до краев, потому что и супница, блюдо со вторым, глубокая тарелка, чайник с чаем, чашка с блюдцем, сахарница, столовые приборы. Поставив поднос на пол, она оглядывалась, нет ли кого из нас поблизости, и только после этого стучала в дверь кабинета. Неся ему еду, стучала. Своему мужу. Трудно представить себе более странную ситуацию. А он так ни разу не подошел, чтобы открыть ее. Сама открывала. Она поднимала поднос с пола и входила. Обычно, она сидела у него, пока он не поест. Иногда это длилось гораздо дольше.

Не раз было у меня искушение: подкрасться тихонько к двери и подслушать, о чем они говорят и вообще, разговаривают ли они или так долго молчат. Но, увы, нас строго учили, что нельзя подслушивать.

Но, как вы знаете, война отучила нас от многих вещей, которым нас учили. Не это меня сдерживало, а, скорее, страх перед тем, что я мог бы услышать. Тем более, не хотел и потому, что когда мать уходила от него, глаза у нее обычно были полны слез. И так во мне зародилась ненависть к отцу. О, как я иногда ненавидел его за эти слезы матери. Сегодня да, сегодня я догадываюсь, что произошло между ними.

Когда она приносила ему еду, самым важным для меня было: выйдет ли мать от него снова с глазами, полными слез, или, может, хоть когда-нибудь у нее будет прояснившееся лицо. Даже когда я сидел в самой дальней комнате, слушал, не выходит ли уже мать от него, и бежал ей навстречу, то ли глаза у нее в слезах, то ли улыбка, едва заметная, но все-таки расцвела на ее лице. Я даже пытался угадать, произойдет ли это, когда она отнесет ему завтрак, или, может, обед или ужин. Впервые я тогда осознал, как сильно люблю свою мать. И отца, с каждым ее плачем, когда она от него уходила, с каждой ее печалью, ненавидел все сильнее, хотя он и вернулся. У меня было такое чувство, будто на мне лежит долг – защищать свою мать от него. Мне казалось, что каждый раз, когда мать приносила ему еду, он забирает ее у меня. Эта моя любовь к матери, впрочем, и защитила меня от него. Признаюсь вам, она до сегодняшнего дня защищает меня, хотя мать тоже уже мертва. Если бы не это, не знаю, – не потянул бы он меня за собой. Ибо я унаследовал от него его раскаяние. Вероятно, я испытываю почти такую же муку, как и он. Вас удивляет, что можно наследовать угрызения совести. Как и все, как и все, уважаемый. Мы должны наследовать, иначе то, что произошло, будет повторяться снова и снова. Мы не можем выбирать из наследия только то, что нас не обременяет. Мы обманывали бы самих себя. Мы и так уже увязли во лжи. Разве вы не заметили, что ложь приняла облик истины? Стала хлебом единым. Способом жизни. Без малого – верой. Ложью мы оправдываем себя, ложью мы убеждаем, ложью оправдываем мнимые истины. Взгляните на мир. Я, во всяком случае, наследую от него. И хочу наследовать. Иначе, пожалуй, я бы не был способен чувствовать эту мою неугасимую любовь к матери.

Однажды мать, уходя от него и неся на подносе снова несъеденный обед, с глазами полными слез, бросила в мою сторону:

– Отец просит тебя к себе.

Я не испытывал радости, поверьте. Просто облегчение. С бьющимся сердцем постучал в дверь. Он сидел на диване, в пижаме, на раскрытой постели, в тапочках, ссутулившийся, словно даже просто сидеть было для него мучением.

– Подойди сюда, – сказал он. Его голос показался мне чужим. Я бы не узнал его по голосу.

– Ближе, — сказал он.

И тогда я увидел, что лицо его стало еще более изможденным со дня возвращения, пожелтело. Его холодные глаза показались мне почти мертвыми. Он смотрел на меня, но я не был уверен, что он меня видит. Сердце все сильнее колотилось в моей груди, несмотря на то, что я стоял перед своим отцом. Он был хорошим отцом, поверьте. Был чрезвычайно нежный, никогда не кричал. Никогда даже не шлепал меня, в отличие от матери. Не раз я рассказывал ему о каких-то своих делах, детских проблемах, и он всегда воспринимал меня с пониманием. Но тогда я впервые почувствовал страх перед ним.

– Я хотел, сынок, исповедаться перед тобой, – сказал он. – Перед тобой, а не перед Богом, – дрожь пробежала по мне, хотя из этих первых его слов я мало что понял. – Бог легко прощает, – слова он почти вырывал из себя. У меня было ощущение, что он говорит не губами, он говорит всем своим уставшим от войны телом, телом, настолько худым, что кости проступали через пижаму. Мне показалось, что я слышу, как они постукивают друг о друга внутри него при каждом слове. — Отцы должны исповедоваться перед сыновьями, чтобы память о них сохранилась надолго. Я не хочу, чтобы ты меня простил. Я хочу, чтобы ты помнил. Пусть твоя память будет моим покаянием, – он устал, опустил голову, и какое-то время я так и стоял перед ним, застыв от страха, а он откинулся на спинку дивана, как будто вот-вот полетит вниз головой. С усилием он поднял на меня глаза. Они уже не были холодными, мертвыми, как будто не верили, что я стою перед ним. Он долго смотрел на меня. Он смотрел и словно не верил, что это – я. – Мне приказали проверить, не спрятался ли там кто-нибудь еще. В саду, между домом и сараем, была картофельная яма. Там копают такие ямы, что-то вроде погреба. Я подбежал, дернул за дверцу и увидел тебя. Сейчас, когда ты стоишь передо мной, тем более я уверен, что это был ты. Я увидел твои испуганные глаза.

– Подойди ближе, – он смотрел, долго смотрел мне в глаза, причем так близко, что мне даже показалось, будто наши глаза касались друг друга. – Да, это одни и те же глаза. Они не верили, что этот солдат с еще дымящимся стволом, который не знает, нажмет ли он на курок, – твой отец. Какое-то мгновение я колебался. И в этот момент понял, что не имею права жить. Я, твой отец, я почувствовал, что это – ты. В ярости я захлопнул дверцу и крикнул, что никого нет, – он устало вздохнул, видимо, ему не хватало воздуха, но через некоторое время обхватил мою голову обеими руками и положил ее себе на плечо. Тело его задышалось. – Для всех нас было бы лучше, если бы я умер, – услышал я возле уха его шепот. – Но я так хотел перед смертью увидеть тебя. Очень хотел. Я люблю тебя, сынок. Но этого недостаточно, чтобы жить. А теперь иди уже, – и он отстранил меня от себя.

Мы оба сидели молча от этих, последних слов его отца, потому как о чем говорить после этого, сами понимаете. Кафе медленно заполнялось людьми, становилось все теснее, все громче. В какой-то момент он кому-то поклонился или отвесил поклон. Я не поднимал глаз, решив, что в такой момент не уместно проявлять любопытство. И снова кому-то откланявшись, он сказал: – Однако ничто не предвещало того, что произойдет в ближайшее время. Во время бритья, бритвой.

После этих слов он словно погас. Или он решил, что наша встреча после того, что он сказал, уже может вернуться к категории случая. Говорить ему больше не хотелось. А мне ничего такого не приходило в голову, что могло бы поддержать разговор. Просто, к моему изумлению, у меня перестало болеть справа, под ребрами. Я даже не заметил, когда эта боль ушла. Как будто ее рукой сняло. Так что я бы с удовольствием съел еще одно пирожное и выпил второй кофе. Я как раз хотел спросить его, не съест ли он, может, еще одно пирожное, выпьет второй кофе, когда он, в ту же минуту, посмотрел на часы и сказал:

– О, не думал, что уже столько времени. Безмерно благодарен вам. К сожалению, время поджигает.

Он потянулся за кошельком, отсчитал деньги и сунул их под сахарницу. Но, уже убрав бумажник обратно в карман, вдруг замешкался и снова вынул его.

– Подождите, может, он где-то здесь.

Он снова стал искать по отделениям бумажника, как и до этого. Я подумал, что на этот раз, возможно, он хочет мне вручить свою визитку. И тоже протянул руку под пиджак, чтобы вынуть бумажник и вручить ему свою.

– Нет, не ищите, у себя не найдете. Должна быть где-то здесь. Наверняка, – он все более нервно перебирал в отделениях бумажника. – Хотел вам показать чрезвычайно интересную карточку. Правда, необычную. Кто-то, кто сделал эту фотографию, запечатлел тот момент, когда отец стоял передо мной. Где же она? Невозможно, чтобы не было. Необычно в ней то, что мы смотрим друг другу в глаза. Мои испуганные глаза, которыми я смотрю на отца, и лицо отца, искаженное гримасой, и его глаза, смотрящие на меня. И в то же время оба наших лица видны в анфас. Это трудно себе представить, но поверьте мне, оба наши лица напротив друг друга и оба, в то же время, в анфас. Точка, с которой была сделана эта фотография, кажется физически невозможной для обоих лиц, обращенных друг к другу, когда оба – лицом в лицо. Я пытаюсь, но пока тщетно, уяснить, где эта точка могла бы находиться. Потому что она где-то есть, лучшее тому доказательство – сама фотография. Если мне это удастся, это станет настоящим открытием. Кто знает, не новое ли это измерение пространства, недоступное пока нашим чувствам, нашим представлениям, нашей совести.

Руки у него дрожали, он снова стал вынимать из кошелька содержимое его отделений, освобождая их подчистую.

– Пожалуйста, посмотрите, – он протянул мне фотографию. Я подумал, может, та, которую он искал. – Моя мать.

– Красивая женщина, – сказал я. Она действительно была красива. Но он не был похож на нее. Может, самую малость – глаза, рот.

– Так она выглядела до того, как отец вернулся с войны, – сказал он, как бы невзначай, занятый поисками той фотографии. Теперь он искал ее среди всего того, что выбросил из бумажника на стол. – Скорее всего, невозможно найти эту точку в пространстве нашей повседневной жизни. Тем более, что мы с ней свыклись, стали одним из ее измерений. А ведь именно пространство определяет, кем мы являемся на самом деле, по своей сути. Именно им определяется все. Не только в физическом смысле этого слова. Судя по этой фотографии, это не так, возможно, существует еще и физическое пространство. Именно это я и пытаюсь выяснить. Иногда признаки этого пространства можно предположить у величайших мастеров, в их самых совершенных холстах. Обычные законы физики не согласились бы с таким пространством. Но именно в этом и заключается великое искусство. Я имею в виду искусство как мир, к сожалению, вместе с человеком. О, если бы я нашел эту точку. К сожалению, у меня нет этой фотографии, – сказал он с упреком, словно разочаровался сам в себе. – Простите, уважаемый, – начал собирать и машинально, не задумываясь, что в каком отделении было раньше, класть обратно в кошелек все, что до этого выбросил из него. – Мне очень жаль, – повторил он. – Я был уверен.

– Не беспокойтесь, – сказал я. – В следующий раз покажете.

– Вы хотели бы еще встретиться со мной? – удивился он.

– Естественно. Могли бы и здесь, в этом кафе. Конечно, если бы этот столик был свободен... – поспешил я заверить его, чтобы он не подумал, что я говорю из вежливости.

– Только видите, – сказал он, пряча бумажник в карман, – не знаю, будет ли это возможно. Скорее невозможно, – повторил он с нажимом. – Мы должны были бы снова не узнать друг друга и снова поклониться друг другу по ошибке на улице, в полной уверенности, что уже где-то когда-то встречались. Только где, когда? В противном случае вы были бы правы, что это просто неудачное совпадение.

А знает пан, мне интересно, или он мне этого не сказал, или отец ему этого не говорил, но когда он подбежал к тем дверям, перед ними уже стояла свинья. Выскочила из хлева, как только он начал гореть. Хлев стоял чуть сбоку, но немного был виден в ту щель, через которую я смотрел. Она шла медленно, старая была. Таких старых свиней уже не держат, только это была необычная свинья. Откормленная, еле-еле несла себя на коротеньких ножках. Их и видно-то почти не было из-за обвислых от жира боков. Такое было впечатление, что этими боками она идет по земле. Направилась прямо к яме, где я сидел. Начала похрюкивать, водить рылом с пяточком у дверки. Скорее всего, учуяла меня. Она ко мне была больше всего привязана. Пыхтела, хрюкала, а потом взяла и улеглась прямо перед дверкой. Он пнул ее, она с трудом поднялась. А когда уже захлопнул дверку и куда-то там крикнул, что здесь никого нет, в ярости выпустил в нее весь магазин. Стрелял, хотя она уже лежала мертвой. До последнего патрона, аж мясо брызгало во все стороны. Откуда знаю, что до последнего патрона? Магазин заменил.

Пан даже не догадывается, что то была за свинья. Совсем крохотным поросенком мы называли ее Жужа. И с поросят она мало чем была похожа на свинью. Не знаю, знает ли пан, что свиньи – наинтеллигентнейшие создания.

Свиноматку еще сосала, но уже выделялась изо всех поросят. Приходили в хлев, тут же срывалась с места, задирала рыльце и становилась перед паном, чтобы взяли ее на руки. Лучше всего она чувствовала себя среди людей. Иногда ее приносили домой, чтобы немного побыла с нами. Она умела отличить: это отец, это мать, дедушка, бабушка, дядя Ян, он еще был жив, когда она была поросенком, это Ягода, Леонка, а это я. Меня всегда рыльцем в ногу толкала. Никогда меня ни с кем не перепутала. Нетрудно было догадаться, что меня любит больше всего. Везде ходила за мной. Иногда я не знал, как от нее избавиться. Гнал коров на пастбище, и она – за мной. В школу шел, оглядываюсь, – идет за мной.

Приходилось возвращаться и закрывать ее в хлеву. Не раз я из-за нее опаздывал на первый урок. Учитель спрашивает, почему опоздал, но ведь не скажешь, что из-за свиньи. И он сразу вписывал мне двойку по поведению в дневник. Наполучал я этих двоек из-за нее, так что в конце года у меня был самый низкий балл по поведению во всем классе.

Посылала меня, например, мать зачем-то в магазин. Захожу, пытаюсь за собой дверь закрыть, а в дверях – Жужа. Продавщица на меня с криком, что, мол, здесь ей свинью в магазин вожу. Убирайся! Нет, люди добрые, вы видели его! Что за парень! Люди в смех, мне стыдно. Сколько раз ничего из-за этого я не покупал. Не помогали никакие просьбы, угрозы. Вернись, Жужа, ну, иди, давай. Возвращайся, потому что то-то или то. А она поднимет свой пяточок и смотрит как бы с упреком. Или по грибы шел, так никак ей не объяснить, что она-то собирать не будет. Не знает грибов, а еще, не дай Бог, потеряется в лесу, что тогда? Надо было ее брать на руки и относить обратно в хлев.

Но это было возможно, пока она не стала тяжелой. Как подросла, так не сильно-то и возьмешь ее на руки. Свинью, скажем, килограмм на пятьдесят, не возьмет же пан на руки. И с каждой неделей она становилась все тяжелее и тяжелее. А запрешь ее в хлеву, так все одно умудрялась как-то из него выбраться. Занесешь поесть, вроде вот тут, у ног, а глядишь – уже на улице. Впрочем, с весны до осени хлев весь день стоял открытым, чтобы свежий воздух и у живности был, а тем более, когда жара. Целыми днями на улице шастала.

Пан запер за собой калитку, когда куда-то шел, а она все одно за ним шла. Не через калитку, так всегда где-то в заборе была дыра. Сама эти дыры проделывала. Затыкал отец одну, она тут же вторую делала. Не говоря уже о том, где пан видел, чтобы забор и без дыр? Такая уж природа забора.

Раз матери так показалось, что отец все дыры заделал. Шла на майское богослужение, калитку за собой плотно закрыла, заложила на крючок. Майские богослужения проходи-

ли, как правило, в часовне, которая была в засохшем дубе, а дуб стоял на опушке, уже почти в самом лесу. Говорили, что это самый старый дуб, что помнит всех людей, которые когда-либо здесь жили. Не умирает, потому что в нем эта часовня, любой другой дуб в его возрасте уже бы давно свалился. Толпа женщин у дуба, в основном женщины ходили у нас на майские. Поют, поют. Вдруг мать чувствует, что-то у нее рядом с юбкой путается, смотрит – Жужа. Пришлось взять ее на руки и весь молебен отпеть с ней на руках. Но тогда она еще маленькая была.

Какой-то пан из города ухаживал за дочкой соседей. Недавно я ей табличку надписал. Приезжал всегда в воскресенье и после обеда они выходили на прогулку. У него была фотокамера, и когда они шли на прогулку, аппарат постоянно висел у него на груди. О, тогда фотоаппарат не был так распространен, как сегодня. Если холостяк с камерой, так ни один холостяк с гектарами не мог с ним сравниться.

И как-то в воскресенье я нес Жужу на руках, потому как пошла за мной куда-то и я возвращался, чтобы отнести ее в хлев, а они оба как раз шли мимо. Дочь соседей как провало, так она смеялась, а он велел мне остановиться. Повыходили все наши из дома, потому как дочь соседей аж заходила от смеха, так всех нас поставил перед домом, велел матери взять Жужу на руки и так всей семьей нас сфотографировал. В какое-то из следующих воскресений привез нам эту фотографию. Мы стоим на ней: отец, дедушка, бабушка, Ягода, Леонка, я, дядя Ян, он был еще жив, а впереди мать с Жужей на руках, как с ребенком.

Вполне может быть, он хотел сделать смешной снимок. Но это единственное фото, на котором мы все. Нет, у меня его нет, но я хорошо помню. Хотя, скажу пану, сколько раз вспоминаю, мне совсем не смешно, что со свиньей. Даже какое-то чувство благодарности я испытываю по отношению к Жуже. Ведь это только благодаря ей у нас есть это единственное семейное фото. И что с того, что только в моей памяти? Всем кажется, если свинья, так чтобы на убой. А чем, в сущности, мы отличаемся от нее. Мы умнее? Лучше? Не говоря уже о том, что животные имеют такое же право на этот мир, хотя бы только потому, что они есть в нем. Мир, вообще-то, и для них. Ной так на свой ковчег взял не людей.

А, например, пан не заметил, что животные в старости становятся похожими на старых людей? Пока молодые и они, и человек, сходство, быть может, не так заметно. Но на старости лет становятся столь же нелепыми, как и старые люди. Так же болеют и теми же болезнями. А что не говорят, не жалуются, может, потому, что слова и так им бы ничего не облегчили, как не в состоянии облегчить людям, несмотря на то, что те и говорят, и жалуются. По-моему, так же, как люди, и смерти боятся. Откуда знаю?

Прошу прощения, сколько пану лет? Сколько я бы ему дал? Трудно так, по внешнему виду. Не знаю, ну, я не знаю. Когда пан вошел, мне показалось – он где-то так, в моем возрасте. Может, потому что в плаще, в шляпе. А теперь как будто пан много моложе. Или, может, старше? Сам не знаю. Иногда кто-то так выглядит, будто за его плечами нет груза прожитых лет. Может и пан нашел способ договориться со временем? Я прав? Значит, я не ошибся. Договориться трудно, всех нас это ожидает. Мог, впрочем, догадаться. Как только пан сказал, что пришел купить фасоли, мог бы догадаться.

Хотя, скажу пану, годы тоже мало что значат. Пан знает, сколько такая свинья может прожить? Восемь, десять лет – это потолок ее возраста, естественно, если бы человек дал ей дожить. Но не даст.

Поэтому, должно быть, этот ее переход от хлева к картофельной яме многого стоит. Хотя, вообще-то, это было не так далеко, но в ее возрасте... Уже почти не вставала, мало что ела. Я приносил ей кипяченое молоко с подболткой, потому что только у меня еще как-то ела. Хотя тоже приходилось ее упрашивать, поглаживая. Ну съешь, Жужа, ешь, не будешь есть, умрешь. Но хорошо, если только окунала пяточок в корытце и немного лакала.

Трудно было смотреть на ее старость. Верить не хотелось, что ее когда-то на руках носили, домой брали. Все, Жужа, Жужа, Жужуня. День, можно сказать, с Жужи начинал-

ся. Как там Жужа, Жужа то, Жужа это. А Жужа ко всем ластилась, не говоря уже о том, что за всеми ходила. Тяжело иногда с нею было, но мы надеялись, что изменится, когда подрастет. Но подрастала и не менялась. Все больше и больше становилась, а только и знала, что дыры в заборе делала. И если кто-то из наших домашних куда-то собирался, она шла за ним. И не только из наших, потому как так доверяла людям, что если даже кто-то посторонний проходил мимо нашего дома, выбиралась на дорогу и топала за ним. Иногда прибегал кто-нибудь злой-презлой, заберите, мол, свою Жужучу, так ее в сердцах называли, потому что идет себе спокойно, а она – за ним. Где это видано, чтобы свинью так растили. Заколите ее, давно пора, и так уже, похоже, переживает. А то не будет у вас ни сала, ни солонины.

Но дома никто никогда не вспоминал о том, чтобы Жужу заколоть. Хотя не могли не видеть, что она как раз доросла до своего предназначения. Потом даже и переросла его. А у свиньи известно, какая судьба.

Раз отец намекнул, как раз приближалось Рождество, что может ее заколоть. Все, услышав это, стояли, понутив головы, отцу неудобно стало, и он сказал:

– Да это я так, только вспомнил. На что дедушка заметил:

– Может, война будет, так лучше оставить.

И Жужа дальше росла, прибавляла в весе и за всеми ходила. Становилась все тяжелее и тяжелее. Домой ее уже не впускали, так она ложилась под дверями и так лежала. Выходил кто-то, чтобы ее отогнать, с трудом вставала. Как-то раз рассердился отец и сказал:

– Раз не можем ее заколоть, – продадим.

Поехал в город, привез посредника. Посредничеством у нас занимались преимущественно евреи. Если у пана была свинья там, корова, теленок, гуси или только перо, он шел к посреднику, а тот уже находил покупателя. И вот пришел посредник посмотреть на нее, а Жужа как раз лежала под домом, поднялась, подошла к нему, подняла пяточок и так минуту – не меньше! – смотрели они друг на друга. После чего взяла и легла прямо у его ног. И что пан скажет, посредник, что его, кроме мяса, солонины в свинье может интересовать, а почесал в затылке и сказал:

– Вы тут меня к свинье, но свинья ли она, так я не знаю. А кто она, если не свинья, так я тоже не знаю. На вид она, может, и свинья, но я не знаю. Ой, не знаю.

И даже не захотел пощупать, чтобы понять – какие у нее сало, окорок. А пан должен знать, любой посредник с этого начинал. Прежде, чем сказать свою цену, щупал и щупал, и всегда всем жаловался:

– Сало – вот, на этот мой палец, не больше. А ветчины, о, сами смотрите, этот мой палец входит, не скажу, как и во что. Пустота. Чем вы ее кормили? Вы, похоже, ее не кормили, голодом морили. Да какую цену за такую заморенную свинью даст тот же колбасник? Ни копейки он больше не даст. А он не даст, так и я не заработаю. А разве я хочу заработать? Мне бы только на свои выйти.

А этот даже не хотел ее пощупать.

– Она не на сало, она не на ветчину. Она у моих ног лежит. И что? Она, может, плохо обо мне думает. И что?

Казалось, что это у него такой способ, чтобы начать торг с самой низкой цены. Просил его отец, можно сказать, заклинал, что это такая же свинья, как и любая другая, ест нормально, в этом ничем от других свиней не отличается, а то, что ходит за каждым прохожим, так большая уже. В конце концов, может, отцовы уговоры подействовали, но он начал ее трогать, щупать. Все искусство заключается в том, чтобы выщупать толщину шпика. О, пусть пан посмотрит здесь, на мое бедро. Нужно растопырить пальцы и по очереди надавливать отдельно каждым из них, а потом, для уверенности, еще и большим пальцем. Хороший перекупщик точно скажет пану, что у свиньи сала – на два, два с половиной, три пальца. Так же он определит и хорошая ли у нее, толстая ли ветчина.

– У нее и сала достаточно, и ветчина хорошая. Да все в порядке, – сказал он. – Но она хочет жить. И вы молитесь, чтобы она хотела, как можно дольше. Может быть, это какой-то знак, но это должен знать ребе²⁵. Я же только перекупщик. Простой перекупщик.

Скажу пану, что до сих пор не могу понять: в чем Жужа была виновата перед ним? Всю обойму в нее выпустил. Пан думает, отец ему об этом не сказал? Почему? Я тоже не знаю, максимум могу только догадываться. Но у меня даже мысли не было: спросить его об этом при следующей встрече. Нет, мы больше не встречались. Никогда. Часто заходил в это кафе, в одно и то же время, как раз то, в которое мы с ним тогда встретились. По крайней мере, я заходил, когда незадолго до полудня шел на репетицию. Иногда останавливался, садился за столик, выпивал кофе, съедал пирожное. Как-то спросил официантку, а все время была одна и та же, как раз та, что и тогда нам подавала. Она знала его, помнит пан, она тогда улыбнулась ему и совсем не официантской улыбкой. Она вспомнила эту нашу встречу, меня как будто смутно помнила, но его – хорошо. Она сказала, что не спутала бы его ни с кем, но со времени той встречи он больше у них не появлялся. Никогда.

Терзал меня этот снимок и то, что не спросил я его о нем. Не давало мне покоя: где могла находиться точка, с которой кто-то этот снимок сделал. Иногда и сегодня я задумываюсь над этим. Снимка, правда, я не видел. Но разве нельзя рассуждать об этом и без него?

Допустим, кто-то здесь сделал бы нам снимок, как мы лущим фасоль. Мы сидим на этом снимке, как и сейчас, друг напротив друга, а вышли бы *en face*²⁶. Лицо пана – словно пан смотрит на фотографа и мое так же – будто и я на него смотрю, но в то же время мы сидим лицами друг к другу.

Расстояние между мной и ним было не больше, чем между нами сейчас. Темный зрачок дула я видел – вот как вижу глаза пана. Где бы, следовательно, могла находиться та точка? Если бы здесь, как пан думает, – где? Где здесь мог бы стоять фотограф? И пространство небольшое, едва ли с эту комнату. И нет войны, собаки спят, а мы лущим фасоль, разговариваем. Должно быть намного проще, пан так не думает?

А может, вышли бы на улицу? Ночь, но зажгли бы лампу перед домом. Я показал бы пану, где это. Яма рухнула, все вокруг поросло крапивой, кустами, дверцы уже нет, сгнила, но ее обвязка еще стоит. Дубовая, а дуб долго стоит. Может, я бы как-нибудь втиснулся туда, а нет, могли бы просто представить. Я бы встал на колени, пан – напротив меня. Пришлось бы только пану взять какой-то кусок палки. Ну, а чем бы пан целился в меня? Дети так играют и стреляют. Пан говорит, что это не наше воображение, если бы мы даже и были бы детьми. А чье? Нам ведь никто не поможет. Никто не может прожить эту жизнь за кого-то, поэтому и представить, вообразить себе что бы то ни было никто ни за кого не в состоянии. Не нужно отвергать ни одного способа, если он может привести нас к себе. Может, в том месте, где это происходило, нам было бы легче найти ту точку, из которой нам было бы ближе всего. И не должен был бы пан искать меня по всему миру. Не пришлось бы ему приходить ко мне за фасолью. Не должны были бы задаваться вопросом, где, когда. Тем более, что, вот, фасоль у нас уже потихоньку заканчивается. На ноге у вас еще стручок. И еще там – один, там – второй. И здесь, посмотрите. Пусть пан поворочит, скорее всего, еще немного найдется.

А может пан хотел бы больше этой фасоли? Я оставил немного для себя, но принес бы еще две, три вязанки. Пан ведь на машине, а для нее нет разницы, если даже и будет немного больше. И вряд ли пан уедет прямо сейчас. В конце концов, с чего пану ехать в ночь? Я бы посоветовал оставаться уж до утра. Потом попьем чая или кофе. Пан куда-то спешит? В следующий раз он может меня уже и не застать. Если бы не фасоль, не знаю, и сейчас застал бы меня пан. Почему? Может ли человек быть уверен: где и когда он в этом

²⁵ Ребе — титул учителя (меламеда) в иудейской начальной школе хедере, равно, как и уважительное обращение к раввину, принятое среди ашкеназских евреев.

²⁶ *En face* – с фр., анфас, лицом к смотрящему; вид лица, предмета прямо, спереди.

мире? Пан говорит, всегда здесь и сейчас. Увы, это ничего не значит. Можно сказать, что у сейчас нет границ, так же, как и здесь – обязательно есть где-нибудь еще. Как по мне, любой мир есть только в прошлом, так же как и любой человек, хотя бы потому, что время – только в прошлом. Здесь, сейчас – это только слова, и одно, и другое – одинаково аморфны, впрочем, как и все, о чем мы говорили. Сейчас и то я даже не могу пану сказать – какой этот мир. И есть ли он вообще. Или, может, мы только представляем, что есть. Правда, для пана это навряд ли имеет значение, потому как он пришел ко мне за фасолью...

Может, пан купил бы себе здесь какой-нибудь домик? Зачем? Ну, я не знаю. Просто подумал, что, может, пан тоже ищет какое-то место. Не обязательно приезжать каждую субботу, воскресенье. Я бы даже не советовал пану. Тем более, проводить здесь отпуск. Один, два раза в год – максимум. И лучше всего так, как сейчас, после сезона. Я бы, как и всем, присматривал пану за его домиком. Ему не было бы о чем беспокоиться.

Есть несколько домиков на продажу. Двадцать второй, тридцать первый, и, похоже, сорок шестой или седьмой, уже не помню. Есть, наверное, и другие, но надо бы проверить. О, многие с тех пор, как я здесь, уже продали свои домики. В последнее время не так много желающих покупать. Иной раз кто-то появится, посмотрит, посмотрит, и не понятно: хочет купить, или просто так, посмотреть приехал. Поначалу часто ко мне заходили, оставляли адреса, телефоны на случай, если кто-то надумает продать дом. Сейчас уже никто не оставляет. Хотя место, пан видит: залив, лес, воздух.

Зверье здесь настолько привычно к людям, что косули порою подходят к самым домикам. Нет, не за едой. Еды им и в лесу хватает. А белки прямо по открытым верандам скачут, в домики заглядывают. Другое дело, люди сами их разбаловывают. Целые сумки орехов им привозят. Больше, чем те могут съесть или закопать, спрятать в землю. Идет пан, а орехи у него под ногами похрустывают.

Думаю даже, не написать ли на досках для объявлений, что запрещается кормить белок. Потому как, что с того, что в сезон едят у людей прямо из рук? Сезон – не вечный. Иногда и кабан сюда забредает. Порой заяц между домиками пролетит, проскачет. Может пан встретить ласку, куницу. В лесу их куда труднее встретить.

А как-то раз лось объявился. И нет, чтобы где-то у берегового склона встал. Прошелся между домиками. Здесь немного постоял, там немного постоял. Поднялся визг, начался переполох. Одни к домикам побежали, другие заскакивали на лодки, байдарки, бросались в воду, кто-то чуть было не утонул, потому как плавать не умел, кому-то стало плохо, хорошо, здесь есть домики, в которых живут врачи. Подошел к заливу, напился воды, заревел и спокойно ушел. Иногда и лосю без людей скучно.

Или если бы пан так, перед восходом солнышка встал, когда птицы просыпаются. Или вдохнул бы он утром здешнего воздуха. Почувствовал бы пан, как у него легкие открываются и что это такое – воздух. В другом месте часто ведь даже и не знаешь, что дышишь и чем. Если над этим задуматься, может, вообще, не хотелось бы и дышать. О грибах, ягодах, землянике, клюкве я уже пану говорил. Но лучше всего просто так по лесу идти, ничего не собирать, ни о чем не думать. Пан и лес.

Я из-за этого даже с собаками не очень люблю ходить. Только услышат какой-то шорох и все, полетели. Потом зови их: Рекс! Лапша! Как-то так за косулей полетели. Закричался я их, искал. В лесу деревья звук глушат. В конце концов, рассердился я и вернулся один, без них. Под вечер лишь появились. Морды все в крови перепачканы. О, и на моей совести косуля. Пан видел ее глаза, когда она умирает? Ну, например, в силках, в ловушке. Такого ужаса пан больше ни в одних глазах не увидит.

Так скажу пану, когда в сезон понаезжают сюда люди, иногда у меня складывается впечатление, что живу не в том же мире, в котором живут они. Не скажу, приятный ли, веселый ли их мир, может быть, и счастливый даже, не знаю, но я бы, наверное, не смог жить в нем. Пан уверен, что в нем живу? Только как мне самому в этом убедиться? Ведь даже солнце у каждого должно быть свое, свои восходы, закаты. Столько лет я прожил за

границей, и везде, где жил, когда я хотел найти восходы, закаты, приходилось их искать, ориентируясь на здешние рассветы, закаты. И всегда это была единая мера всех рассветов, закатов. Везде это была единая мера.

Другое дело, тем более, в больших городах, можно всю жизнь прожить и не увидеть ни восхода, ни заката. Как день наступает? Просто становится светло. А ночь наступает – зажигаются миллионы фонарей. Да что же это за ночь? Одно слово, что ночь. Сейчас, правда, и здесь не знаю, где солнце всходит, где заходит. И не всходит уже в том же месте, и не заходит. Встану вместе с ним, но нет уверенности, оно ведь не здесь всходило. Поэтому не знаю, как пан меня здесь нашел, если я сам себя найти не могу. Что правда, то правда, найти себя – непростой вопрос. Кто знает, не самый ли это сложный вопрос из всех тех, с которыми человеку приходится сталкиваться в этом мире.

Нет, домик пана Роберта не продается, я уже говорил. Во всяком случае, пока пан Роберт не даст мне знать. Я бы посоветовал пану тридцать первый. Мало какой домик может сравниться с этим. Камин, электрическое отопление, двойное остекление окон, стены утепленные, можно и зимой жить. Две ваннные комнаты, вверху, внизу, в ваннных комнатах бойлеры, плитка. Кроме того, все дубом отделано. На полах ковры. Были еще рога, но на мое счастье, их забрали.

С рогами я бы пану не советовал. Не смог бы он жить. Все стены были обвешаны этими рогами. Куда бы пан не обернулся, везде рога. В комнатах, на кухне, в ваннных. Над входом висела голова кабана, вот с такими клыками. Не было ни одной свободной стены. Заходил проверить, все ли в порядке, так надо было следить, чтобы на какой-то рог не напороться, потому как некоторые были такие огромные, что чуть ли не до середины комнаты торчали. Иногда, скажу пану, садился в кресло, потому что мне нравится так, порою, в том или в ином доме, хотя бы минутку-другую посидеть, у него были большие кожаные кресла, но что-то меня сразу выгоняло. Для этих рогов, собственно, и построил домик. Жена его, видимо, из квартиры выгоняла, потому что больше некуда было что повесить. Нет, она никогда сюда не приезжала. Зато он – каждую субботу, воскресенье. Не загорал, не плавал, даже на прогулку редко выходил, сидел целыми днями в домике. Часто и зимой приезжал. А странность в том, может себе пан представить, – вообще не охотился. И это были не трофеи его охотничьих успехов. Зато был у него карабин. Для чего он ему был нужен, не знаю. Как по этим рогам заглянуть в чью-то душу?

И вдруг, мне трудно сказать, что случилось, как-то приехал на грузовике с двумя рабочими и забрал эти рога, а дом выставил на продажу. Некоторые говорили, что какого-то хорошего покупателя на эти рога нашел, а другие, что вывез на свалку. Но правда могла быть совсем другой, хотя, не знаю. Не хочу наговаривать на человека.

Нет, хочет не много. Как за такой домик, это почти полцены. Что бы пан здесь делал? Ну, а что я делаю? Может, приезжал бы раз, два раза в год, и то, после окончания сезона. Я бы даже мог больше фасоли сажать. А не хотелось бы нам лущить, могли бы сходить в лес, прогуляться. Могли бы послушать музыку, я привез много пластинок. Нет, в шахматы не играю. А пан хотел бы сыграть? Как-то не научился. Для шахмат у меня никогда не хватало терпения. За границей я иногда играл в бридж, но в бридж нужны четверо. На стройках, когда я работал на них, если не пили, но это бывало редко, случалось, играли в карты. В тысячу, в дурака, в шестьдесят шесть. Могли в очко или в покер.

Еще раньше, в школе, – в спичечный коробок. Никогда не играли? Пан даже не слышал о такой игре? Простая игра. Кладется коробок спичек, только должен быть полный. Кладется на край стола, плашмя, так, чтобы меньше, чем на половину, выступал за его край, иначе упадет. И подбрасывается вот этим, указательным пальцем. В зависимости от того, как коробок упадет на стол, столько очков зарабатываешь. Торцом, т. е. на самую короткую сторону, где спички вынимаются, самое большее. Обычно, мы договаривались на десять очков. Но можно договориться и по-другому. На бок, где фосфорная полоска, одной или другой стороной... Пан не знает, для чего на коробке фосфор? Спичкой, ее головкой тереть об эту полоску, чтобы она загорелась. Так вот, если коробок падает на бок,

где фосфорная полоска, – зарабатываешь пять очков. Ну, а если коробок падает плоско – ноль.

О, это была не такая невинная игра, как пан думает. Невинных игр не бывает. Все зависит не от того, во что играют, а на что. Невинно играли, когда приходил воспитатель. Тогда даже очков не записывали. Собирали коробки от спичек и почти каждый вечер приходил, проверял: сожгли ли мы уже спички вчерашнего коробка. Потом скажу, зачем собирал. Сидел, не раз сидел с нами. Поэтому, бывало, приходилось делать вид, что как бы и спать собираемся, иначе бы не ушел от нас. Тот начинал расстегивать пуговицы на рубашке, этот расшнуровывать ботинки, другой – расстилать кровать. А когда, наконец, воспитатель уходил, скорее всего, уверенный, что вот, уже сейчас, мы будем в кроватях, вот тогда, он еще по коридору шел на выход из барака... Вот только тогда мы начали играть по-настоящему.

Нет, не на деньги. У нас не было денег. Хотя встречались среди нас и такие, что умели вытаскивать кошельки из карманов. Не на сигареты. Мы курили вишневые листья, клевер и другую гадость. Смысл игры был в том, чтобы в ее конце не оказаться проигравшим. Пан удивлен, что только в этом? Так это, скажу я пану, только пока. Пока удивлен. Кто проигрывал, а независимо от того, сколько нас играло, проигрывал всегда только один: тот который зарабатывал минимум очков. И он становился жертвой всех игравших. Мы могли делать с ним все, что нам хотелось, а он должен был делать, что ему велели. То есть игра шла не на то, чтобы выиграть, как во всех других играх, и что, по сути, представляет собой принцип любой игры. Игра шла на то, чтобы, как я уже сказал, не оказаться в самом конце, в проигравших. А что означало оказаться в конце, так лучший показатель того, что некоторые – сразу в плач. Некоторые пытались бежать, но как убежишь, когда столько выигравших. Некоторые пытались подкупать других различными обещаниями. Но кого можно подкупить обещаниями?! Некоторые даже доставали ножи. Но и это не многим помогало. Когда так много выигравших, ни плач, ни нож не помогут. Только раз одному удалось бежать. Но он уже больше в школу не вернулся. Ждал, что будет в конце, и еще игра не закончилась, он бросился к окну, а оно было закрыто, прыгнул, как в воду, головой выбивая стекло.

Должен, правда, сказать, что все происходило по справедливости. Даже очки не записывал никто из играющих. Определяли одного из парней, чтобы он взял лист бумаги, карандаш и никто не мог заглянуть ему в эту карточку. Поэтому пан может себе представить, какое царило возбуждение, когда игра заканчивалась. Не кто выиграл, а кто оказался в конце, проигравшим.

И как-то раз оказавшийся в конце проигравшим принял это спокойно, только сказал, что он должен сначала в туалет сходить. А если ему не верим, можем с ним идти. Мы и пошли.

Отхожее место находилось в углу площади, в той ее части, что за бараками. Не думаю, что пан знает, как такая уборная выглядела. Вниз – на рост человека, а может и глубже. Не помню, чтобы ее когда-то чистили, выгребали, так что могло быть и глубже. Широкая, где-то как от пана и до стены, и длинная, что мог десяток пацанов за раз сесть. Две переладины – вдоль, на ту, что ниже, – садились, на высокую – опирались спиной. Толстые были, на подпорках, чтобы не сломались и не рухнули. Вокруг уборной высокий забор из плотно подогнанных друг к другу досок. Я на цыпочки вставал, руку вверх вытягивал и то у меня не получалось достать его верха. Само собой, тогда я был много ниже нынешнего.

Где-то с полметра над забором была крыша, чтобы обеспечить проветривание. Но из-за этого, когда шел дождь, трудно было найти на переладинах сухое место. А когда лило порядочно, то пусть даже, как говорится, на ходу оправлялись, все одно вымокали до нитки.

Но зато уборная была единственным местом, где можно было прийти поговорить, откровенно рассказать друг другу о чем-то, поругаться, пожаловаться, а иногда и просто вы-

плакаться в одиночку. В других местах, везде, когда собиралось несколько человек, да если они еще к тому же и разговаривали приглушенными голосами, а то и, упаси Господь, шептались, об этом тут же доносили. Шепот был самым подозрительным. Как его слышали, сразу же начиналось:

– Ну, что это за секреты у вас? Здесь секреты запрещены. Секрет – это эгоистичный пережиток. А школа должна не только выучить вас профессии, но и воспитать. Говорите.

И нужно было спешно что-то выдумывать. Естественно, между нами были и такие, что доносили. Только как их распознать? Не написано же у них на лбу, что доносят. Если даже того или этого и подозревали, так он как раз мог быть и невиновен.

Зато даже в самых смелых предположениях пану бы и в голову не пришло, что это тот, который над вами или под вами спит. А еще, когда «спокойной ночи» говорит, с головой накрывается одеялом.

Естественно, надо было следить и в туалете. Каждый спускал штаны, хотелось ему, не хотелось, мы все сидели, держась за поручень, а один становился перед отхожим местом на стреме с незастегнутой ширинкой, словно только что встал с очка. Ширинки, должен пан знать, были тогда на пуговицах, и застегнуть ее на три, четыре пуговицы, не получалось так быстро, как сегодня с нынешними молниями.

Если подходил кто-то нежеланный, тот, на стреме, давал нам знать посвистыванием или кашлем и только после этого начинал застегиваться. Так что когда кто-то заходил в туалет, он ничего не узнавал, потому как все сидели, держась за поручень, и тужились, пыхтели, иногда больше, чем того требовалось.

Ну, и тот, что захотел в туалет. Мы пошли с ним. Он расстегнул брюки, присел... И кто мог ожидать, что это только предлог? Вдруг он соскользнул с перекладины и начал падать. Нет, он не кричал, чтобы его спасли, потому что не собирался топить. Он хотел только окунуться, чтобы вонять. Справедливо считая, что такого ублюдка все будут сторониться, и никто из победивших ему ничего уже не скажет. Даже когда он выкупается. Не так легко после чего-то такого не вонять, хоть каждый день купайся. К тому же он был в одежде, в ботинках. Тут нужно время, и время приличное, чтобы все это выветрилось.

Только он не предполагал, что внизу так глубоко. Ему уже до груди доставало, а ногами еще дна не коснулся. Тогда он начал просить, умолять, чтобы мы его спасали, а он, мол, согласен на все, что мы прикажем. Что мы ему могли сказать? Что только пан может себе в этом возрасте и в такой школе представить. Не буду даже говорить пану, что. Я с еще одним пацаном выломали палку со спинки и хотели ему дать. Старшие не позволили. Стоять! Пусть до шеи ему дойдет! Потом до подбородка пусть ему будет. Пусть от пуза такой-сякой нажрется этой дрянью. Еще насмехались. Ты думал, что в дерьме спасешься. В конце концов, погрузился до самого лба, так что надо было его вытаскивать за волосы. Такая это была игра.

Как обманчиво покорно ведет себя коробка со спичками: на торец, боком, плоско. И кто в конце оказывался проигравшим, можно сказать, – проигрывал себя. И я иногда оказывался в конце. Не было такого, кто бы через этот конец-проигрыш не прошел. Поэтому, может, терялась мера, граница проигрыша. Проигрывал кто-то из старших, то и мы молодые, мы не были лучше. Мы советовали ему делать такие вещи, что даже и вспоминать не хочется.

Почему так играли? А кто начинает игру с мыслью, что проиграет? Тем более, что проигрывал только один, тот, кто оказался в конце. В любой другой игре, как правило, проигрывают все, кроме одного. В этой мы все выигрывали, кроме одного. Пусть пан сам скажет, или он знает более справедливую игру? Или более простую? Ну вот. Коробка торцом, на бок, плоско.

А может, немного отдохнем от этого лущения, я бы показал пану? Где-то здесь должны быть спички. Да вот они, целая упаковка. Скажу пану, бывает, иной раз сам с собой играю. Беру коробку спичек, только должна быть полной, сорок восемь, по крайней мере, так тогда было в коробке, сижу, вот здесь, за столом, и играю себе. На торец, на бок, плос-

ко. Очков не записываю, потому как зачем? Нет, я не играю на что-то. На что мог бы играть сам с собою? Если только пан хочет, чтобы на что-то. Пожалуйста, скажите. В нашем возрасте трудно играть в то, во что играли в школе. Ну не знаю, не знаю. Пан здесь гость, ему надо выбрать. Мне действительно все равно.

Так, коробочка полная. Я не пользуюсь спичками. Покупаю иногда, только чтобы поиграть. У меня зажигалки. Ну и так у меня все на электричестве. Я ведь электрик. Плита тоже электрическая. Давайте-ка присядем за столом. Вы, может, с той стороны, я с этой. Или пан хотел бы наоборот? Вот так коробка устанавливается, не больше, за край стола, потому что иначе – упадет. И так подбрасывается, этим пальцем, только немного согнутым.

Пожалуйста, пан первый. Ну и, видите, первый раз, а сразу – на торец. Было бы десять очков по тем правилам, как мы играли в школе. Теперь я. А у меня, пусть пан посмотрит, плашмя. Нет уже той, прежней, ловкости в пальцах. Ревматизм как пристанет к человеку, так все, уже не отпустит. Сейчас и так – намного лучше, как я говорил пану. При лущении фасоли мало что уже чувствую. Этот палец, которым как раз подбрасывать, видит пан, как мне покорежило. Нет, к прежнему виду его уже не вернуть. Надо бы операцию сделать. Но это уже ни к чему.

Теперь – вы. Опять торцом. Ну-ну. И что, вижу, пана затянуло. А он еще удивлялся, почему мы играли. У каждой игры есть такое – затягивать в себя, иначе бы не игралось. А у меня снова плашмя, видит пан. Но, может, пан хотел бы, чтобы мы записывали. Даже когда ни на что не играют, может оказаться, что, однако, играли на что-то, только не знали об этом. Особенно, когда выигрыш. Пан сам запомнит? В порядке. Не хотел бы, чтобы у пана потом были ко мне претензии, что он выиграл, а играли мы просто так, ни на что. И снова у пана коробок встал на торец. Наверное, он уже когда-то играл. Не верю. Видно даже по тому, как пан коробок подбрасывает. Тот делает всего пол-оборота в воздухе, но всегда падает на торец. Пан просто не хочет признаться в этом. Был один такой в школе, помню, почти каждый раз коробок у него вставал на торец. Никто не хотел с ним играть. Заранее было известно, что он никогда не проиграет. Вот как с таким играть, признайтесь. У человека опасения должно быть столько же, сколько и надежды, когда он начинает даже такую игру, как эта, в спичечный коробок.

Пан не хотел бы оказаться в такой школе. Понимаю. Только это не зависело от того, хотел ли кто. Теперь – вы. И опять торцом. Теперь я. И снова, пан видит. А в школе, вообще-то, был не из худших. Наоборот. Другое дело, что для этого я тренировался в подбрасывании коробок почти каждый вечер, когда оставался в клубе. Частенько делал небольшой перерыв в упражнениях на саксофоне или каком другом инструменте, и по крайней мере пару раз подбрасывал коробок. Да я почти каждый вечер ходил в клуб. Обычно, поздно, когда там уже никого не было. Иногда только приходил учитель музыки. Но мне не мешало, что он пьяный. Сидел себе тихонько, но я знал, что меня слушает. У пана опять, смотрю, на торец. Он, уверен, должен только в эти коробки играть. Если бы на деньги, пан на них сделал бы состояние.

Как попал в эту школу? Пан помнит, что сестра погибла, я же рассказывал. Вскоре после этого и я заболел. Подскочила температура, высокая, мне давали какие-то порошки, после которых бросало в пот, и жар ненадолго спадал, но потом все начиналось сызнова: температура упорно лезла вверх, меня лихорадило. Я осунулся, сильно похудел. Даже вставать сил не было, не говоря уже о том, чтобы самостоятельно передвигаться. А они должны были уходить от того озера, потому как начали их окружать. Меня пришлось нести. Несли попеременно. Сначала один, потом другой. С продуктами было плохо, но тем немногим, что у них оставалось, они делились со мной. Мы шли всю ночь и весь день, с короткими перерывами на отдых, и все это время меня несли. Уже под вечер вышли из леса, и надо было переходить в другой лес, как вдруг увидели дом лесника. Подождали, пока совсем стемнеет. В одном окне зажегся свет. Тогда двое пошли на разведку. Оказа-

лось, в доме одна лесничиха. Меня занесли в дом и оставили под ее присмотром. Заломила она надо мною руки. Запричитала:

– Матерь Божья, да если б я знала, что ты такой больной. Господи, какой лоб у тебя горячий, весь горишь. Матерь Божья, не умирай, я ведь только что своего похоронила.

И такого, в горячке, выкупала меня в лохани. При этом снова причитала:

– Ты такой тощий, Матерь Божья. Кожа да кости, Матерь Божья. Ничего, откормлю тебя, только оклемайся.

Потом банки мне поставила. После банок с головы до ног растерла чем-то жгучим. Да так, что я весь день как в огне был.

– Ну, все банки черные. Все черные, – все повторяла, растирая меня. – В жизни не видела таких черных. Пиявок бы тебе приставить, так нет их у меня, – дала мне чего-то выпить. Помню, ужасно горько было. – Пей, пей, это – на здоровье, – потом замотала меня в пуховое одеяло.

По всей видимости, проспал я два дня и три ночи. Будила меня, чтобы я снова это горькое выпил. И дальше спал. Проснулся совершенно без сил, даже руки из-под одеяла было не вытащить, но лихорадка прошла.

– Курицу тебе забила, – сказала она, как будто приветствуя меня в этом мире, – чтобы бульон был. После этой болезни бульон – лучше всего, – но встать мне не дала. – Лежи, лежи, тебе нужно немного полежать. Не дам тебе так, сразу и много, – кормила меня в постели, ложку за ложкой вливая мне в рот. Немного бульона, немного лапши, чуточку мяса. – Ну съешь еще, съешь. Хотя бы эту ложку. Нужно набрать вес, иначе и силы не вернутся. Ох, какой ты тощий, Матерь Божья, какой худой.

Откидывала одеяло, смотрела на меня. У меня не было сил даже стыдиться. Молодая еще она была, как я сегодня ее вспоминаю. Только толстой она мне показалась. Может, и красивая, в этом я уже не уверен. Лицо у нее было как будто в небольших оспинках, глаза грустные, но добрые. Волосы черные, как распускала их при расчесывании, так они всю ее покрывали. Грудь настолько большие, что не раз вываливались из-под ночной рубашки, когда вставала с кровати.

Детей у нее не было, а лесник недавно погиб. Была облава на партизан, рассвет начинался, а он вышел из дома, чтобы прогнать диких кабанов, что рылись в картофеле. Ну, и подумали, что кто-то из дома лесника убегает, посыпались выстрелы. Выбежала она, а он уже мертвый лежал рядом со сторожкой, на самом краю поля. Часто плакала по нему. Чистила картофель, вымешивала тесто на клецки и вдруг начинала плакать. Я утешал ее как мог:

– Не плачьте, лесничиха. Может, лесник теперь на небесах и видит, что лесничиха плачет.

– Откуда ты такой умный? – и переставала. – Хочешь чего-нибудь? Посмотрю, не снесли ли чего куры, я бы тебе яичницу изжарила. Ты должен есть. А до обеда еще далеко, – объясняла она мне, и я принимал это объяснение. – О, уже лучше выглядишь. Слава Богу, лучше. Съешь что-нибудь? – и так постоянно было: – Хотя бы ломтик хлеба с маслом съешь. Может, с сыром съел бы? Я сделала сливочное масло, я сделала сыр.

Две коровы было. Я уже сносно чувствовал себя и выгонял этих коров на пастбище под лесом. Солнце иногда еще не всходило на полдень, приходила ко мне, приносила то хлеб с маслом, с сыром, то два-три яйца вкрутую.

– До обеда еще есть немного времени. Наверное, проголодался. Ешь, – иногда посидит некоторое время со мной. И глядя, как я ем, повторяла: – Ешь, ешь. О, сегодня ты уже выглядишь полнее, чем вчера.

Однажды вечером, мы уже по кроватям лежим, она на своей, я на своей, и вдруг слышу – плачет. Тихо, но слух у меня с детства хороший. Подумал: может, снится ей что-то плохое. Поднял голову, прислушался, слышу, плачет.

– Плачет лесничиха? – спрашиваю. – Почему?

– Ничего, ничего. Что тебе я буду говорить. Если бы постарше был, если бы постарше был. Спи.

Наступила зима. Все подкладывала мне еду, а я ей во всем помогал, неважно – просила она меня об этом, не просила. Не единожды говорила, что Бог ниспослал ей меня, потому что как бы она сама справилась, когда его больше нет. Она имела в виду лесника. А на шкафу в комнате лежала его шляпа. Зеленоватый, узкий рондо, опоясанный над полями шнурком коричневого цвета, завязанным сбоку восьмеркой. Может, я бы и не обратил на это уродство никакого внимания, но как-то она сняла ее со шкафа, вычистила щеткой и повесила на гвоздик над их свадебным портретом.

– Пусть здесь висит, – сказала. – И чтобы ты никогда не трогал. Это – святое.

В святости, однако, как пан знает, кроется большее искушение, чем в грехе. И пошла она как-то в деревню, в магазин. Я снял шляпу, посмотрел на их свадебный портрет. Была немного старше, чем на этом свадебном портрете, а лесник – как лесник. Я подумал: он умер, она в магазине, кто увидит, если я примерю шляпу. И примерил.

Была еще одна комната, которую она закрывала на ключ. Ключ прятала за иконой Божьей Матери с Младенцем. Но если закрывала, значит, не хотела, чтобы я туда заходил. И я не заходил. Но как-то она оставила ключ в дверях и не закрыла. Что-то прямо как толкнуло меня под локоть, и я заглянул на минутку. Успел увидеть застланную кровать, накрытую узорчатым покрывалом, рядом с кроватью колыбель и большое зеркало на стене. То, что зеркало там, я и так знал. Когда мыла голову, всегда говорила мне что-то сделать, за чем-то последить, а она пойдет, расчесется перед зеркалом. И шла в ту комнату, запиралась на ключ и долго расчесывалась.

Я посмотрел на себя в зеркало и, скажу пану, в первый момент даже не понял, что это – я. Первый раз себя увидел. Как будто мне только-только и пришлось увидеть, что вот он – я. Дома сам никогда в зеркало не смотрелся: кто в этом возрасте смотрится. Утром шел в школу, так мать всегда следила: дай-ка, причешу тебя, поэтому сам-то и не причесывался.

Я стоял и стоял перед этим зеркалом, и не мог поверить, что это я. Может, потому, что был в шляпе лесника, которая спадала мне на уши. Или, может, мне просто казалось, что я много старше того, в зеркале, которого я, к своему удивлению, увидел. Личико румяное, откормленное, толстошее. Я провел ладонью по щеке, но даже пушка не почувствовал, не говоря о том, чтобы уколоться. И тот, в зеркале, тоже провел ладонью, но он, у меня было такое впечатление, как будто почувствовал под рукой щетину. Я стоял, стоял, и все сомневался, стоит ли поверить, что это я. Тем более, что сам себе я не нравился. Мне нравилась только шляпа лесника. И мне в голову даже пришла мысль: а если бы я был лесником?

Даже не заметил, что тем временем вернулась лесничиха. Рассердилась, и как я нашел ключ?! Зачем я сюда зашел, зачем сюда зашел, у меня мало места в комнате, на кухне, на улице?! Сорвала у меня с головы шляпу. Начала говорить за все про все, что кормит меня, обихаживает, как может, а я такой вот гад, такой вот гад и какой-то еще, и вообще до тех пор, пока не задохнулась от возмущения. Никогда не видел ее такой. Грудь ее двигались, она с трудом хватала воздух. В конце концов, устала, села и немного успокоилась.

– Видишь, видишь, что наделал. Я думала, что раз война закончилась, то теперь...

Я не понимал, что она имеет в виду, но, по крайней мере, хотя бы узнал, что война уже закончилась.

Иногда, особенно в дождь, можно было услышать, как где-то далеко-далеко, подавая сигнал, гудит поезд. Или, когда прикладывал ухо к земле, тоже иногда можно было услышать грохот, как от поезда, что идет по рельсам. Я спросил ее как-то:

– А где тот поезд, который слышно?

– Там, – показала рукой.

– А где станция?

– Там. Но это далеко отсюда.

Минула зима, весна, пришло лето. И как-то я сказал, что иду в лес за земляникой, а сам собрался на эту станцию. Пошел так, безо всякого плана, просто посмотреть, а может поезд придет. Как сейчас помню, до нее была пара километров, не больше. Станция небольшая, но людей в очереди стояло много. Я спросил железнодорожника, когда придет поезд.

– А в каком направлении? – спросил он в ответ.

– Все равно.

– Как это – все равно? Не знаешь, в каком направлении едешь? Ну как не знаешь, так вот прямо сейчас и прилетит.

И точно, скоро приехал. Полный людей, обвешанный людьми, даже на крышах люди сидели. Те, которые ожидали, казалось, что уже не вместятся. Тем более что у них были с собой чемоданы, коробки, корзинки, разные тюки, узлы, пакеты. Из вагонов их затаскивали за руки, с платформы пихали в спины. Забыл еще сказать, что, когда поезд только остановился, с начала и с хвоста состава выскочили двое каких-то парней, примерно моего возраста, с корзинками в руках, они побежал вдоль состава, и один из них кричал:

– Груши! Яблоки! Ренклюд²⁷! – а другой: – Помидоры! Огурцы! Кольраби!

Из окон протягивали к ним руки, люди покупали. Поезд уже тронулся, а они, на бегу, еще продавали. В последний момент вскочили на ступеньки, едва, едва ухватившись за поручни.

Поезд набрал скорость, ушел, а мне стало как-то странно и одновременно удивительно, что я остался, не уехал. Я почувствовал себя так, словно этот поезд вместе со всеми его людьми покинул меня. Железнодорожник, у которого я спросил, когда придет поезд, вроде бы даже удивился:

– Почему ты не поехал, если тебе все равно, в каком направлении? – и засмеялся.

Вошел в здание станции, а я поплелся обратно. Шел, никуда не торопясь, разные мысли меня мучили, а когда уже почти подошел к дому, решил, что убегу от лесничихи. Еще начала у меня выпрашивать, где это так долго был, о, и земляники совсем не набрал. И вообще, что я раньше был честнее, хотя и таким худым был, и сил столько, как сейчас, не было у меня.

Я забрал у нее корзину и металлическую полквартирную²⁸ кружку, чтобы было чем измерять, когда буду продавать землянику, чернику, ежевику или другой штучный товар. И прежде, чем она проснулась, ранним утром выбрался тихонечко из-под одеяла и убежал.

Начал, как и эти пацаны, кататься на поездах. Продавал, что сам собирал в лесу или воровал у людей на огородах, полях. Это – в самом начале, потому как потом, когда уже подкопил немного денег, покупал у хозяев. Иногда жалели меня и за бесценок продавали, иногда даже бесплатно отдавали. А я продавал поштучно или на кружки. На кружки, ну это у кого-то должна быть сумка или хотя бы кусочек газеты. Спал прямо на станциях. Но большей частью ездил. Пересаживался с поезда на поезд, где была узловая станция, и в путь, и дальше, и так все время. Познакомился с другими пацанами, которые также, как и я, ездили с этим, с тем. Многому меня научили, что более выгодно, что менее, когда, на что наибольший спрос. Что и в каких поездах лучше продается, с ранья, вечером, о, это большая разница. В пассажирских, в скорых. В скорых выручка была самой маленькой. И скорый шел только один за сутки. Или, например, что люди предпочитают в более, в менее загруженных поездах, во втором, в третьем классе. Тогда второй класс был, как сегодня – первый, а третий, как второй.

Когда можно брать большую цену, когда столько не заплатят. Лучше всего продавалось, когда в поезде народу – не протолкнуться, жара и людей мучит жажда. Правда, по

²⁷ Ренклюд – старинный сорт слив, выращиваемый в Западной Европе с XVI века. В России эта разновидность известна как «ренклюд Зеленый»

²⁸ Кварта – мера емкости в Польше и во многих странах западной Европы, равная примерно 1/10 ведра. Получается, что кружка на полквартиры – это примерно 0,5 л.

такому составу и протиснуться было нелегко. Зато кондукторы частенько не проверяли билеты. Но в этом возрасте человек – еще как бы половинка от себя, и, если очень надо, не человек даже, а кусочек мыла. Нужно – протиснемся! Когда уже приобрел определенную сноровку, продавал и лимонад. На лимонаде у меня лучше всего получалось. К тому же он – продукт непортящийся. И вот как-то иду вторым классом, второй класс, как правило, малолюдный, и зазываю:

— Лимонад! Лимонад! Груши! Груши! Яблоки! Яблоки!

Подзывает меня какой-то мужчина, уже в возрасте:

– Дай мне грушу. Одну. Только спелую. Сколько просишь за эту?

И заплатил мне за грушу, как за три. Остальных – не захотел. Но чтобы я присел рядом с ним. На минутку. Начал меня расспрашивать, откуда я, где живу, живы ли родители. А я молчу. Ну что я мог ему сказать? Тем более, боялся, что накажет меня, ездил ведь без билета.

– А хотел бы в школу ходить? – вдруг спрашивает он меня.

Тоже ничего ему не сказал, потому что не знал, хочу ли я.

– Выучился бы какой-то профессии, – говорит. – Не будешь же все время ездить на поездах. Что, например, будешь зимой продавать? Фруктов не будет. Лимонад? Поезда обычно неотапливаемые, кому захочется пить твой лимонад?

Этой зимой, скажу пану, он меня напугал. Я и не знал, что зимой в поездах людям не хочется пить. А еще больше удивился, когда он сказал, что сейчас, после войны, много таких как я. Поезд остановился на какой-то станции и, больше не спрашивая меня, хочу я, не хочу, бросил:

– Приехали! Выходим.

И я вышел с ним. На пристанционной площади стояли дрожки. Мы подошли к одним из них. Возница, похоже, знал его, потому как сильно обрадовался:

– О, пан адвокат. Доброго здоровья, доброго здоровья. Давно вас не возил, – и спросил: – Как обычно?

Ехали мы довольно долго, пока не остановились перед каким-то зданием с зарешеченными окнами первого этажа. Там меня кому-то отдали. Меня взяли и первым делом остригли наголо. Потом дали мыло, полотенце, отвели в душ и велели хорошо помыться. Дали одежду, обувь. Ботинки, помню, были очень большие. Свои я оставил у лесничихи, не хотел будить ее, когда убегал. Ходил босиком, хотя лето уже и подходило к концу. Сфотографировали меня, спереди, сбоку, один раз, другой. Потом отвели в столовую. Там уже ели несколько пацанов. Хлеб с джемом и черный зерновой кофе, помню, мне не понравились, несмотря на то, что я был голодный. Потом охранник в форме отвел нас всех в камеру. Зарешеченное окно, в углу ведро и несколько железных двухъярусных кроватей.

Сказал:

– Вам тут будет лучше, чем у матери. Спать, – и запер дверь с той стороны.

Но никто так и не уснул. Едва потушили свет, начали нас грызть клопы. Пана когда-нибудь грызли клопы? Нет, не желаю я такого пану. Всю ночь нас грызли. И их там было... Тучи! Целые тучи. Мы их давили, но все время откуда-то вылезали новые и новые. Первый раз я тогда столкнулся с клопами. И скажу пану, вши, блохи – это еще ничего, по сравнению с клопами. У нас все тела были в волдырях от укусов. Ощущение такое, будто кожу с тебя содрали. Мы расчесывались до крови. Но чем больше чесались, тем больше шел зуд по всему телу. И так из ночи в ночь. Мы пожаловались тому охраннику, который нас запер на ночь, так он сказал:

– Нужно крепче спать.

Через несколько дней пришла за нами машина. Не такой, не обычный грузовик. Металлическая будка с зарешеченными окошками, и тоже, как мы сели, какой-то в форме запер за нами дверь. Сам ехал с водителем и по дороге все смотрел, что мы делаем, в окошко из кабины, и это окошко тоже было зарешеченным. А что мы могли делать? Трясло нас сильно, вот и все. Дорога была то вверх, то вниз, так что мы большую часть ехали какими-

то зигзагами, чем прямо, и еще бросало нас от борта к борту. Я всю дорогу думал, что же я такого натворил. То ли убежал от лесничихи? То ли продавал по поездкам? Или что ездил без билета? Вот так я и оказался в этой школе.

Ага, так мы не договорились, до скольких очков играем. Как пан скажет. В школе мы обычно договаривались между собой – до столькох-то и до столькох-то. Все зависело от того, сколько нас играло. Ну и помимо этого, от того, раньше или позже мы начали. Это, в свою очередь, зависело от того, когда воспитатель уходил от нас.

Да, тут, наверное, стоит сказать, зачем он собирал эти спичечные коробки. Ни за что пан не догадается. Ну пусть он посмотрит на коробку, которой мы играем. Что пан видит? Да, здесь терки для зажигания спичек, отсюда спички вынимаются, с одной или другой стороны, а тут этикетка. На этой – «Давайте накормим голодных детей». Какой-то фонд. Тогда были другие. И не одинаковые, разные. Сгорели спички, пошел другой, новый коробок купить или кто-то свои из кармана достал, а на коробке уже новая этикетка. На предыдущей было, что надо чистить зубы, а тут уже – «Да здравствует первое мая» или «Вперед, молодежь мира», или «Весь народ восстанавливает свою столицу». Если бы пан и не знал, в какие времена он живет, то из этих этикеток все бы понял. Не знаю, какие этикетки нынче в ходу. Говорил же пану, что практически не использую спичек, у меня все на электричестве. Сигарет тоже не курю. Но, как на мой взгляд, любое время можно восстановить по этим этикеткам. И оно восстановится с той самой поры, когда появились спички.

И этот наш воспитатель именно так считал. Велел сделать в столярной мастерской щит из фанеры. Насколько большой? Ну, чтобы не соврать, немногим меньший, чем школьная доска. И на нем рядками прикреплял коробки. Было еще немало свободного места, поэтому каждый вечер он приходил к нам и напоминал о коробках, когда мы сожжем спички. На каждый урок воспитания мы приносили этот щит в класс. Нужны были двое, трое пацанов, он был довольно тяжелый, а воспитатель шел за ними и кричал:

– Осторожно! Осторожно!

Видно, были слабо прикреплены, потому как не раз какой-то из коробков отваливался по пути. Вот тогда он злился, пацанов, что несли щит, называл ишаками, дурнями, недотепами. И по этому щиту воспитывал нас, от коробка к коробку. Наверное, думал, что раз мы постоянно играем в эти коробки, то с их помощью воспитание будет легче входить в наши головы.

Вызывал к доске, тыкал указкой в тот или иной коробок и, спрашивал, что мы видим на нем. Но что видим – это еще не все, потом нужно было развить тему, рассказать о картинке на этикетке. С развитием все было намного хуже. Даже когда одному из нас удавалось что-то там развить, он и дальше продолжал его мучить. Ну а, может, немного глубже, подумайте, как бы это следовало понимать. И если вдруг кто-то понимал неправильно, вот уж он бесился, вопил, что мы целыми вечерами играем в коробки, даже когда от нас уйдет, думаем, не знает, все знает. Знает, что это за игра. И на что мы играем.

Скажу пану, как по мне, если подумать, все это, вообще-то, было не так уж и глупо, как может показаться. Потому что пусть пан сам скажет, как воспитывать человека, чтобы у него не было сомнений в том, в какие времена он живет. Человека волнует только, что он живет от рождения и до смерти. А кому нужен такой человек, что живет от рождения до смерти. Да временами ему еще кажется, что это и так – слишком много. При этом, если бы он сам мог решать, в какое время он хотел бы жить, наверное, мало кто захотел бы в свое. В свое время жить сложнее всего, пусть пан признает. Гораздо легче или раньше, или позже, но только не в свое. Да, воспитать человека – непростое дело. И никогда неизвестно, какой способ воспитания лучше. Почему коробки от спичек должны быть хуже?

Ну, теперь – пану кидать.